

Юрий КРАСАВИН

ОЗЕРО

экологическая поэма

1.

В сквозных осинниках коровы разгребали багряную листву копытами, чтоб добраться до травки, поникшей и пожухлой; осенней стылостью, а то и морозцем дышал ветер, веявший над унылыми полями; куда ни кинь взгляд – всюду печальный, озяблый вид: поле, озеро, деревня... Такая наступила пора – канун октября: белые мухи вот-вот полетят, а пастух Семён Размахеев всё ещё выгонял стадо погоститься. Он знал, что в Вяхиреве скот вторую неделю стоит по дворам, и в Макеевке тоже, и в Глинниках, и в Лопарёве, и в Сенцах; знал и то, что никакой дополнительной платы за продление пастъбы он не получит, но ему было жаль коров, которым предстояла такая долгая зимовка.

Да и себя было жаль: в эту ли пору сидеть дома! На воле так отраден шорох листвы под ногами, сырый и тревожный голос последнего зяблика в безымянном перелеске, нечаянные находки, вроде крепкого боровичка или холмашка со рдяной брусничкой; а впрочем, причина была не в этом. Что-то растворено было в воздухе - над деревней его, над озером, над окрестными полями и лесами - какая-то властная печаль звала и манила, хотелось ходить неспешно и думать Бог знает о чём.

Семён не тяготился, даже если шёл затяжной дождь; Надвинет низко капюшон тяжелого, набрякшего водой плаща, встанет под ёлку и стоит неподвижно, будто статуя воина в плащ-палатке над братской могилой в Глинниках. Ровный шорох дождя, звучное щелканье редких капель, проникавших сквозь крону шатровой ели, редкий жалобный писк лесной птицы странно завораживали. Одно только было не в лад: в чистом осеннем воздухе гораздо яснее, чем летом, был слышен неумолчный рокот моторов в той стороне, где Вяхирево. Там, строили дорогу, а в сосновом бору черпали и черпали из карьера песок - Семён различал, как зло рычит экскаватор, то замолкая, то ярясь.

Дорога будет – это хорошо. Но пока что песчаная да глинистая насыпь безобразила там поле, изуродовала Панютин ручей, ради нее вырубил ровненький ельничек, а он вырос бы в такой дружный лес!.. И те огромные камни возле ручья, каждый в рост человека, уже не стоят теперь кружком-хороводом привычно и знакомо, как раньше, их спихнули в низину, нагромодили беспорядочной грудой. А камни, между прочим, с какими-то знаками и поставлены в неведомо стародавние времена не зря. Семён пытался заступиться за них, но кто его слушает!

Он не любил теперь гонять стадо в ту сторону и спешил отдалиться настолько, чтоб не слышать рокота и рёва моторов, только тогда душа его обретала желанное состояние. Коровы двигались сонливо, траву щипали нехотя, томительно было им и грустно, а вот домой возвращались они охотно.

- Подышите свежим воздухом, - говорил им пастух. – Настойтесь ещё в неволе-то.

Он собирался со дня на день прекратить пастьбу, но всё отодвигал этот срок: вот ещё денёк, вот ещё... Наконец, вчера заявил дояркам:

- Всё, сегодня последний день.

А сегодня утром погода выдалась ведренная, лучезарная, и он решил прогулять скотину ещё раз.

Сразу же за деревней стадо вступило в мелколесье; осинички и березнички с редкими шатровыми елями перемежались полянами – пастбище, привычное стаду. Ночью на землю откуда-то с холодного неба опустился морозец. На палой листве тут и там сохранилась тонкая изморозь; трава, покрытая ею, была ломка; от солнечных лучей проступали длинные мокрые полосы и обширные пятна проталин.

Рокот от строящейся дороги нынче забивали два трактора, поднимавшие зябь по Хлыновскому лугу. Вчера они начали работу, а сегодня уже заканчивали. Коровы прошли по краю вспаханного, а Семён остановился здесь в досаде: опять взодрали большой клин луговины - поле год за годом подвигалось к озеру, наступая на береговой луг с редкими деревцами. Пастух посмотрел из-под руки: кто пашет? Наверняка Валера Сторожков. В прошлом году ругал его Семён:

- Куда ж ты, собака, залезаешь? Тут же озеро рядом! Как я коров пасти буду?

А нынче он, вишь, назло... И вот ведь что: на этом взодранном лугу всё равно ничего не вырастет, то есть ни ржи, ни пшеницы, ни овса не будет, а вот поди ж ты, загадили его и несколько молодых деревьев задавили, загубили. До озера от-

сюда было полсотни шагов; дай волю Сторожку - борозды спустит к воду. Надо было вчера постеречь это место.

Семён в досаде без надобности хлопнул кнутом: коровы и без того шли бодрым шагом, как на прогулке, травы не щипали. Хотелось поскорее отдалиться от этого места, чтоб не слышать тракторов; лучше всего загородиться лесом. Значит, скорей вперёд!

Прошли мелколесье, дальше двигались лесной опушкой; на тёмной тяжелой зелени елей легкие солнечные краски осин да берёз были особенно яркие. За полем знакомый перелесок из одних лиственных молодых деревьев и в пасмурный-то день казался освещенным солнцем, а нынче и вовсе...

Только было наполнилась душа Семёна хорошим чувством – услышал в отдалении стук топоров и напряжённый визг мотопилы. По мере приближения к тому месту звуки становились явственнее; послышался треск и шум падающего дерева, глухой удар его о землю, потом второго и третьего.

«Да что это! – возмутился Семён, ускоряя шаги. – Кто безобразничает-то?»

Деревья тут располагались нечасто – это были столетние ели с толстыми сучьями до самой земли. Иногда они объединялись, образуя своими кронами единый шатёр, под которым будто выметено – муравейники тут и там, а уж ихние трудолюбивые жители все вокруг подметали-подчищали. Семён проломился сквозь чащу и даже похолодел: не порубщик повалил воровски два-три дерева – на такого управу можно живо найти, но целая бригада мужиков – шестеро! – вела наступление на лес организованным порядком. Они как раз, уморившись, сели покурить и поглядывали в его сторону. Люди нездешние, Семёну незнакомые и, должно быть, с государственным заданием, а не какие-нибудь лесные браконьеры; этим что прикажут, они выполнят, лишь бы зарплата шла. Раздолбаи, одним словом.

Семён перелез через огромную поверженную ель, постоял, оглядывая ее от комля до вершины. От жалости не совладал с собой, спросил резковато:

- Что творим, умные головы?

Ему не ответили; он повторил вопрос и снял с плеча кнут, словно намереваясь пустить его в дело – хлестнуть по мужикам, как по коровам.

- Просеку ведём, - объяснили ему умные головы. – Для ЛЭП-200, от атомной станции.

Час от часу не легче. Куда она пойдёт, ихняя просека?

- Там же озеро!
- Да хоть бы и море, нам-то что!
- Забирайте сюда, левее, левее!
- Вот когда будешь нашим начальником, а не коровьим, тогда и распоряжайся, - сказали ему. – Тогда что ни прикажи, всё исполним, только деньги плати.

Семён мысленно прикинул расстояние до озера, соотнёс с направлением просеки и немного утешился: нет, она пройдёт мимо и не меньше, как в километре. Если, конечно, не вздумают ее повернуть.

- Хоть бы раз в жизни увидеть, как лес сажают, а не рубят, - сказал Семён. – Посмотрел бы, тогда уж можно и умирать.

Коровы в некотором отдалении вышли на просеку и тоже оглядывались в недоумении: место неузнаваемо изменилось.

- Кто из вас вот эту ель повалил? – спросил пастух.

- Я, - гордо ответил самый бойкий с мотопилой.

Это был довольно тщедушный человек, молодой ещё, лет тридцати, но этак как бы помятый и оттого казавшийся старше своих лет. Ишь, голову держит немного набок, словно прислушиваясь к ему-то, - не больной ли? Странно было сознавать, что именно он, не шибко-то крепкий, не сильный, повалил такое могучее дерево.

- Если тебе нравится эта ёлка, давай договариваться, - сказал кривошей.

- Насчёт чего?

- Ставишь поллитру на пенёк, и ёлка твоя.

Он оглянулся на товарищей, те заулыбались ему поощрительно.

- А что! Она того стоит. Посмотри-ка, толщина-то в обхват и древесина по срезу аж розовая, со слёзкой. Такую употребить на нижний венец дома – сто лет хоромы простоят! Давай, командир, закупай лесоматериал: ставь на каждый пенёк по поллитре, подгоняй трактор и увози. Дом построишь или баню, например, а то и перепродашь кому втридорога – дело прибыльное, точно говорю.

- Поллитру – это пива, что ли? – съязвил Семён, меряя глазами бойкого мужичка: вот, собака, продаёт Размахаяеву, можно сказать, его же собственный лес.

- Ты что, командир! Мы, кроме как водку, ничего не пьём – здоровье не позволяет.

- Если о здоровье заботишься, зачем ёлку повалил? Она, как корова, только от коровы молоко, а от дерева то, чем твоё здоровье дышит.

Мужик из Семёновых рассуждения ничего не понял, не вник в них, продолжал своё:

- По бутылке за дерево – разве это цена! Давай неси, пока мы добрые.

Кажется, он готов был болтать на эту тему долго, отрадна она ему. Семён подошёл к другой ели, постоял, как над покойником, молча, разглядел на ней беличье гнездо, слава Богу, нежилое...

- По живому режете, мужики, - сказал он, страдая. – Ели эти сто лет росли, а вы за день их свели. Признайтесь, посадил ли кто-нибудь из вас хоть одно дерево за всю свою жизнь, а? Закон есть такое: свалил одно – посади два. А вы сколько посадили?

Мужики переглянулись с усмешками.

- Яблони, семь штук, - отвечал один. – У себя на даче.

Другой:

- А я возле школы, помню, тополя втыкал в землю. Выросли!

- Не расстраивайся, - сказал третий и оглянулся на лес. – На наш век хватит.

- Да ты сам-то посадил ли? – спросили у п стуха насмешливо.

Вопрос этот оказался некстати, и мужики заметили, что Семён смутился.

- Вот то-то! – они засмеялись. - Укорять да учить, конечно, легче - это нет то, что самому деревья сажать.

Они встали, чтобы продолжать свою работу.

- Ладно, командир, сойдёмся на пузыре одеколону, - продолжал приставать кривошей. – Ставишь на каждый пенёк по пузырю, и все будет твоё... Если строиться не желаешь, на дрова пойдут! Ну что, по рукам?

Семён, не слушая его, отошёл. Не по себе было и от того, что увидел, и от того, что услышал, а более всего от укора: сам-то посадил ли? И в самом деле, если разобраться-то, сильно ли он отличается от этих мужиков?

Он завернул стадо и погнал его к деревне. Яркий осенний день потускнел.

«Просеку прорубят... будто дырку в стене! – думал он, сердясь. – Сквозняк устроят... И никак их не остановишь! Нет прав у меня, В доме своём есть, на озере или вот здесь, в лесу, я уже не хозяин. Тут каждый делает, что хочет».

Неуютно было на душе Семёна, будто обидели его кровно и незаслуженно или не оправдалась дорогая надежда.

«Скорей бы зима, что ли...».

Пригнав стадо в деревню, он, не мешкая, заглянул домой, взял заступ и отправился в лес походкой человека, который одержим стремлением и ни на что не согласен отвлекаться.

Если бы чуть попозднее кто-то пошёл следом, то он мог бы увидеть Семёна Размахаяева в Хлыновском логу и, пожалуй, удивился бы: по краю недавно вспаханного поля пастух копал ровненькой чередой ямы, потом приносил из лесу молодые ёлочки и сажал их.

Сначала-то принёс берёзки, но они как-то неубедительно вставали в ряд: стволы тонкие, листва облетела. Совсем иной вид у ёлочек – они гуще, этак потяжелее, присадистее и заметнее. Семён выкапывал их вместе с большим пластом дерновины и земли, боясь повредить корешки, потом, пыхтя от усилий, тащил на поле, заботливо опускал в приготовленную яму, обминал ногами... Надо было видеть в эту минуту его лицо: на нём отражалось глубокое удовлетворение. Но некому было смотреть: вокруг безлюдье. Сиро кругом в эту пору!

К вечеру, когда ёлочки выстроились в несколько рядов, отбирая у вспаханного поля потерянную ранее площадь, Семён и вовсе был доволен. Однако же устал, да и сумерки уже наступали. Он возвратился домой походкой хорошо поработавшего человека.

Но, однако, спал беспокойно: бредило сознание, что и в следующий день бригада будет прорубать широкую просеку; даже снилось, будто она, та просека, уже уперлась в озеро, будто ствол ружья в грудь, и встали по берегам высоковольтные опоры, провисли над водой напряженно гудящие провода. И ещё вспомнилась во сне дорога – она тоже упиралась в озеро, чтоб засыпать его песком да глиной, чтоб опрокинуть и Семёново жильё, и самого Семёна... Но всё-таки жило в душе его утешающее чувство, и он, проснувшись, сознавал: что-то было и хорошее в минувшем дне.

«Ага! Это как я деревья сажал...»

Была ещё одна мыслишка: не засадить ли вот так же ёлочками и прорубленную просеку? Но ее сонный Семён признал глупой, и не без оснований: разве могут маленькие деревья заменить те столетние, шатровые? Да и монтажники придут следом за лесорубами, опоры будет ставить, а у них техника, так что все равно затопчут. Нет, в этом противостоянии ему не победить!

А вот если посадить еще два-три рядка ёлочек дополнительно к ежу высаженным, то можно таким образом отвоевать в пользу приозерного луга, а вернее в пользу берёзового леса ту часть поля, которую отхватил Валера Сторожков в прошлом году. Справедливость будет восстановлена, хотя и не полностью, но на уровне прошлого года, а это уже достижение.

Не о стаде думал пастух Семён Размахаяев, сажая деревья и страдая душой, - об озере.

2.

Озеро было не то, чтобы большое, но и не сказать, чтобы маленькое. В тихую погоду его можно переплыть в самом широком месте запросто, только какая в том нужда? Если уж что понадобится в той стороне, то проще берегом пройти. Конечно, ради интереса или удовольствия можно и переплыть. Ради интереса-то чего не сделаешь!

А вот хоть и невелико озеро, даже лодок на нём не никогда не держали, но поднимется ветер – ого! – волна качает берега.

Так Семён Размахаяев говорил: волна, мол, качает берега. Он даже любил повторять это присловье к месту и не к месту, будто оно остроумно Бог весть как. И в самом деле, в нём и напевность, и ещё что-то, какой-то весёлый, чудесный смысл. Разве не так?

Иногда это ему действительно казалось - что берега покачиваются. Стоило заплыть на срединный островок, там молодые дубки растут, родничок бьёт, дивный камень лежит – как раз в форме кресла, то есть почти круглый, будто ком теста приготовлен для стряпни да и оставлен так, окаменел; в нём этакая выемка – удобно в ней сидеть, глядя на деревню и поля за нею; за полями перелески, они смыкаются и по обеим сторонам деревни подступают к озеру; и так они по всему берегу, будто стада на водопой подходят: впереди овечки-кусты, за ними большие рогатые деревья. А между стадами-перелесками свободные лужайки, пригодные и для косьбы, и для пастьбы.

Красивое озеро... Другого такого во всём мире нет! Семён Размахаяев по всему миру не ездывал, но был убеждён в сущей очевидности: нету! Ну, разве что, может быть, где-то ещё два-три, за какими-нибудь высокими горами, да ведь и те два-три обтоптаны людьми, обижены и унижены. А это – вот оно, нетро-

нудое, целенькое, чистое, будто незамутнённое голубое око Земли, смотрит в небо доверчиво и ясно.

«Газеты читаем, телевизор смотрим, кое-что знаем и кое в чём разбираемся, - размышлял Размахай. – Что там Арал или Каспий – даже Средиземное море запакоостили и загубили. Посмотрите-ка на карту, сколько места занимает море Средиземное – это ж умудриться надо из него помойную яму сотворить!.. А вот сотворили. Да что оно, даже Атлантический океан замусорен. Ничему нет спасения...».

Семён читал в газетах и страдал, негодуя и страшась: в Рейн вылили какую-то химию; в Персидском заливе брюхо распороли супертанкеру – нефть выливается, у проклятых капиталистов в Америке небо закоптили до черноты – не отмыть! – и в родном Отечестве нашем над промышленными городами не лучше – где бы ни происходила беда, она была так близка, будто за тем перелеском.

По телевизору Семён каждый раз с душевной болью видел: Волгу норовят превратить в сточную канаву; в Австралии горят леса, в Испании и Франции тоже; в Сибири валят кедровники, чтобы утопить их в Енисее или Амуре; в Ладогу и Байкал льют отходы целлюлозно-бумажного комбината; на Амазонке вырубают великую сельву...

И не видя, и не читая, Семён знал: ракеты всех сортов бурвят атмосферу, самолёты жрут кислород, ядохимикатами поливают и опыляют поля... трубы заводов стоят, будто деревья в лесу, только в отличие от деревьев дымят, дымят...

Если принять всё это во внимание, то получалось, будто гибельный вал накатывается на всё человечество в целом и на Семёна в его заброшенной деревне в отдельности. Именно гибельный вал, огромный, всё под собой погребающий. Семён смотрел на своё озеро, со всей неопровержимой очевидностью сознавая: вот последнее, что останется пока нетронутым. Если его погубят – всё, ничего не останется на Земле, освященного чистотой и красотой.

Перед тем валом, несущим смерть, лежало, охраняя Семёна, его озеро, царственное не величиной своей, а чистотой и красотой. Слава Богу, пока на него по серьёзному никто не покушался. Хотя, как сказать...есть и здесь губители.

«Ну, это мы ещё посмотрим!» – свирепел Семён Размахаев, будучи твёрдо уверен, что тот, кто покушается на озеро, неминуемо покушается не только на его, Семёнову, жизнь, но и на жизнь вообще – людей, зверей, птиц, трав...

Летом Размахай любил заплывать на срединный островок. Вот как усядется там да раздумается, глядя на водную гладь, тут и почувствует, будто заколыхается она, и от этого колыханья едва-едва, чуть заметно приподнимется берег и домишки на берегу, опустится... и снова.

Деревня видна отсюда – ничто ее не загораживает; почему-то она всякий раз напоминала Семёну старушку в полуотрешенном уже от мирской жизни состоянии: вот-вот помрет, но ещё держится. Дома старенькие, сараи с просевшими крышами, раскоряки-вётлы...

Имя у деревни – Архиполовка. Назвали так потому будто бы, что в какие-то стародавние времена ловили в окрестных лесах беглого мужика Архипа, по прозвищу Размахай, и поймать не могли. Он долго скрывался в этих безлюдных тогда краях, добывая пропитание себе тем, что ловил рыбу, собирал мёд диких пчёл, ставил капканы на кабана, силки на птицу. Потом будто бы девку украл где-то, срубил дом на берегу озера, деланочку леса выжег да и распахал, детишек настругал, вырастил, сыновей переженил, дочери женихов себе приманили... Когда настигли его, Архипа, чтоб обложить налогом, уж целая деревенька стоит, вся сплошь из Размахаевых.

Может, так было, а может и не так, а по мнению Семёна, коренного здешнего жителя, просто жил тут некогда ловкий да мастеровой трудяга-мужик Архип, умел он и землю пахать, и сеть сплести, и избу поставить, а уж то, что для жизни своей выбрал он самое красивое место на земле, свидетельствует неоспоримо: мужик был не дурак и сам себе не враг. Вот и все. И нечего придумывать лишнее.

Ловкий Архип положил начало деревне многолюдной: не всегда-то она была такой, как ныне, знавала и лучшие времена. Перед войной тут был колхоз, и в нем три бригады – это уже не меньше сотни человек работоспособных. И почти половина – Размахаевы. А теперь вот разъехались по белу свету потомки ловкого Архипа, остался здесь один Семён. И дома архиполовские поумирали, а некоторые увезли и поставили в ином месте – много ли осталось-то! А ведь были тут раньше и школа, и изба-читальня, и родильный дом, и даже церковь – она стояла обочь деревни, на Веселой Горке.

Кстати уж о родильном доме: образовался он тогда в пятистеннике крепкого мужика Матвея Тятина, которого раскулачили, а дом отобрали, устроили в нем родильню. И стоял бы дом для общего блага по сю пору, если б не война: мужики воевать ушли – бабы без них рожать перестали, крепкое строение раскатали

по бревнышку для каких-то хозяйственных надобностей. Но вот Семён Размахаев успел-таки родиться именно в нём. Пожалуй, именно на Семёне-то и прервалась череда новорождённых, которой, казалось, не будет конца.

Теперь в Архиполовке ничего примечательного нет: колхозная контора сгорела, школу перевезли в Вяхирево, избу-читальню разобрали на дрова, деревянную церковку тоже снесли – всё это случилось давно, и остался десяток стареющих да дряхлеющих домов. Прошлым летом был одиннадцатый домишко, да повалился – не рухнул с треском и грохотом, а вот именно повалился, то есть осел бесшумно на бок, даже пыльца старческого праха поднялась над ним облачком. Это очень похоже на то, как у грибов, – есть такие, дождевики называются, белые, будто сдобные – а в старости превращаются они в «мышинные бани», пыхают лёгким дымком... Кстати, верно ли, что мыши в них моются? Или всё это выдумки? Но каждая выдумка опирается на правду, как на фундамент. Ведь любят же воробьи в пыли купаться! Небось, и мышам нужно что-то, вроде того. Некоторые баньки из дождевичков совсем маленькие – должно быть, для мышат.

А упавшим домом владели, между прочим, исконные его хозяева, только они уже давно в нём не жили, с тех пор как уехали куда-то на Урал, потом – знай наших, деревенских! – перебрались хитрыми путями в самую столицу: знамо дело, народ толковый. Говорят, искали там покупателя родному гнезду, да не нашли такого. И не потому, что домишко плох, а пугала москвичей дорога на Архиполовку – ни проходу по ней, ни проезду, и даль такая, как в Кощеево царство. Прикинули, небось, рассудили: нет, к тёплому морю ближе.

«Конечно, – размышлял Семён, – если б какие-нибудь москвичи побывали здесь да увидели собственными глазами наше озеро – тут же нетронутый уголок земли! – сразу и цену хорошую дали бы за дом, и дороги не пугались бы, и про тёплое море навеки забыли. А так живут – ни черта не знают. Не знают, а всё равно живут...».

Скоро ещё одно жильё опустеет: пока обитает в нём Валера Сторожок с молодой женой и тещей, да с четырёхлетним Володькой. Ну, это временные жители. Собираются они переехать в Вяхирево, то есть на центральную усадьбу; деревня та стоит на семи ветрах – построены посреди поля две улицы коттеджей, и ни реки, ни ручья, ни тем более озера поблизости нет, только лужи. Валере-то Сторожкову лишь бы мастерские были рядом,

лишь бы вонь стояла машинная да гарь бензиновая, потому никакой он не Валера, а проще сказать Холера, так и в паспорте надо записать.

Черт ли принес его в Архиполовку! Да не черт, а Танька Бадеева заманила. После училища бухгалтерского уехала куда-то, вернулась через год с пузом и родила здесь. Ну, виноватый отыскался: в армии отслужил, приехал, женился на ней и Володьку за своего признал. Парнишечка-то растёт хороший, и Холера этот – парень деловой, технику любит, но... люди добрые, во что превратился бадеевский дом за три года, пока живёт в нём этот раздолбай! Земля вокруг него стала изгваздана тракторными гусеницами, истилискана и издавлена, дерновина изодрана плугами да культиваторами, изъедена пролитой тут и там соляжкой, испятнана мазутом; лежат вокруг дома ржавые колеса от неведомо каких машин, стоит дыбом прицепная тележка, заросла крапивой облезлая сеялка. Ветла-страдалица под окном захомутана ободьями, мотками проволоки, висят на ней старые ведра из-под солярки. Вся она, та ветла, встопорщена, взъерошена, кора ободрана, корни из земли торчат: будто пытали ее, беднягу, да и распнули на всеобщее посмешище. Глядеть больно...

- За что ты ее так? – не раз укорял Семён.

А у Валеры зубов два ряда, белые, широкие, как клавиши аккордеона. Молодой еще, чего говорить! Потому и дурак. Умный разве рассуждает так:

- Или у нас мало вётел? Одной больше, одной меньше – какая разница?

Ржет Сторожков, будто лошадь на овёс. Веселый человек, его ничем не прошибешь. Правда, на прозвище, данное Семёном, обижается, ярится.

- Я – Сторожок! – говорил он с гордостью. – Я всегда на стрёме. Ясно? Меня так еще в детстве окрестили. Так и ты зови.

Не зря окрестили: ушки у него этакие остренькие, торчат бодро и шевелятся каждый на особицу, каждый сам по себе, как у кошки, когда она сторожит мышей.

- Зачем ты в Архиполовку трактор гоняешь? Оставлял бы за околицей! Неуж лень пешком немного пройти?

На все упреки и увещевания Валера только ухмылялся, обнажая зубы-клавиши. Ясное дело: пришлый, собака, ему ни деревни, ни озера не жалко. Он сегодняшним днем живет, про завтрашний голова не болит.

Семён обкладывал его матерком, прилагая «холеру» и «собаку».

Тут Сторожок ушки вострил и брови хмурил:

- Ты чего на людей кидаешься, Размахай? Тебя в клетке держать надо, потому что ты социально опасен.

Грамотный, собака! Огорошит словом – как занозу под ноготь тебе загонит. Грамотный, а без понятия. Почему так?

Вот совсем недавно был у них такой разговор.

- Как посреди отхожего места живешь, - сказал своему врагу Семён. – Ты погляди: птицы над твоим домом не пролетают, всегда делают крюк. Курица погуляет здесь – и подохнет в тот же день. Теленок полежит – чахнуть начнет.

Холере это как об стенку горох: сидел на крыльце и лыбился. Вот так, с улыбкой он любую пакость сотворит.

- Мальчишку-то своего хоть пожалейте, живет, как на машинном дворе. Он запаха живые не понимает, и ухо у ребенка стало грубое – пеночку от зяблика никак не научу отличать.

Тут сразу Танька из окна высунулась:

- А у тебя и о нем голова болит? Своего нет, так о чужом?

И Валентина, ее мать, Сторожкова теща, из огорода вышла, тоже подключилась:

- Ты за нашего Володьку не страдай, он с малолетства будет к делу привычен. Не то, что ты: ни товоха, ни сёвоха. Небось по-твоему, подрастет наш Володька – в пастухи пойдет? Навроде тебя, да? Не-ет, он с отцом вместе на трактор да на комбайн. Вот так-то. В пастухи – это последнее дело.

- Потерпи, - весело добавил Валера. – Скоро уедем в Вяхирево, а ты останешься.

- Поезжай-поезжай, устраивай и там отхожее место. После тебя только это и остается.

- Я тебе сейчас холку намну, - пообещал Сторожок и даже вроде бы приподнялся со ступеньки, на которой сидел.

- А я тебе, - тотчас сказал Семён; подражаться он вообще-то был не против. – Сколько раз говорить: здесь-то не погань – озеро ведь рядом! О-зе-ро!

- А пошел ты, - лихо послал его Сторожок, а бабы кое-что добавили и смеялись обидно.

Победа была явно на их стороне – численное превосходство все-таки! – потому Сторожок опять заулыбался.

- Ну, погоди, - Семёна больше всего злила эта ослепительная белозубая улыбка врага. – Я тебе устрою, чтоб волна качала берега. Погоди, погоди, узнаешь меня.

А чем грозил, и сам не знал. Так уж, для умиротворения собственной души.

Они жили на разных концах деревни, и это было, конечно, не случайно: так распорядилась судьба. Она всегда распоряжается не абы как, а со смыслом. Потому совсем неспроста было и то, что иногда из вражеского лагеря прибегал именно к Семёну Размахаеву четырехлеток Володька, пахнувший бензином, испачканный мазутом, в обсолидоленных штанишках, с тавотом под ногтями, с машинным маслом в волосах... Мудрено ли: возле дома своего шлепнется ребенок на бегу – попадет или в солидол, или в лужу с радужными разводами; поиграть – лезет под трактор, а сверху на него капает, схватится за ложку поесть – ложку только что отец брал грязными лапами...

- Вот собака! – бормотал Семён и сразу вел Володьку к озеру.

- Собак разводят, чтоб шкуру с них снимать, - звенел парнишка. – У них шкура теплая, на шапку годится и на рукавицы. Так папа говорил.

- Надо же! – тихонько дивился Семён и на берегу стаскивал с Володьки одежонку. – Ему лишь бы шкуру содрать.

Откуда он родом, Валера Сторожков? Говорят, с какой-то железнодорожной станции. Так что же, на той станции не было леса и речки или хотя бы хорошего пруда с рыбой? Что у него в душе? Почему он совсем без понятия-то? Вот уж враг так враг.

- От коровы молоко, от курицы яйца, а вот от грачей и воробьев ничего, - рассуждал маленький вражонок, который как-то по особенному люб был Семёну Размахаеву. – Зачем же они живут?

Из него следовало воспитать человека с понятием, иначе он много бед натворит.

- Это-то ладно... а пошто ты, парень, опять бензин пил?

- Я не пил! Только попробовал, только в рот взял и выплюнул..

- Посмотри, какая вода в нашем озере... А ты – бензин. Я-то тебя умным мужиком считаю, а ты? Сколько раз говорить...

Семён заводил парнишку на мелководье, они оба черпали воду пригоршнями и пили.

- У нас тут не просто какой-то водоем, а Царь-озеро. Ты это запомни. Оно нам в наследство оставлено нашими дедами и прадедами. Они его сохранили и сберегли, теперь нам с тобой его хранить и беречь. Соображаешь?

Старший намыливал травяную мочалку и принимался тереть маленького, приговаривая:

- Вот так... вот так... Тут вода целебная. Будешь у меня, как ядрышко из ореховой скорлупки. Как грибок, который с хрустом вылез после дождика.

И вспоминал обидный упрек Таньки: у тебя, мол, своего-то нет парнишки, вот ты и пристаешь к нашему Володьке.

Почему, в самом деле, не было у Семёна Размахаева такого парнишечки? Так опять же распорядилась судьба, а она не всегда справедлива. Обостренное отцовское чувство владело им, когда он легонько, бережно тер мочалкой плечики, выгнутую спинку, старательно намыливал круглую русую головенку...

Володька ежился, жмурился, тер глаза.

- Дядь Сёма, давай про золотую рыбку, - звенел он, - а то зареву! Мыло щиплет.

Сто раз уже рассказывал Семён Володьке про эту самую золотую рыбку, можно и ещё.

- Не реви... Жили-были старик со старухой у самого синего моря... вот как у нашего озера, на берегу... Старик ловил неводом рыбу...

- Я папе сказал, а он говорит: браконьер твой старик.

- Не слушай его, слушай меня... Старик ловил неводом рыбу, а старуха пряла свою пряжу. Вот однажды закинул он невод, пришел невод с одной тиной...

- А потом с золотой рыбкой?

- погоди, парень, не спеши... Второй раз закинул он невод – пришел невод с травой морской. Он в третий раз закинул невод...

Однажды (рассказать – никто не поверит!) во время очередного отмывания Володьки от машинного масла приплыла к ним и в самом деле рыбка из озерной глубины сюда, на мелководье. Они оба разом увидели ее в двух шагах от себя среди кусточков осоки и замерли. И она смотрела на них выпуклыми немигающими глазами, то одним, а то повернется – другим. Рыбка была довольно большая, с ладонь, золотая чешуя ее посвечивала на солнце, играла, переливалась, когда она так божественно шевелила плавниками и хвостом. Семён явственно увидел, как она открыла рот и то-то сказала им, но что именно, не было слышно. И еще: Семёну показалось, что рыба улыбается, ласково и дружелюбно. Выпустила изо рта хрустальный пузырёк, повернулась – золотом осянно осветился бок ее в крупных и мелких чешуйках – и уплыла...

- Видал? – в восторженном онемении спросил Семён у Володьки.

- Видал, - шепотом подтвердил Володька и оглянулся на Семёна: как же, мол, всё это понимать?

- Не шевелись, она опять приплывет... в чешуе, как жар горя.

Стояли, замерши, напряженно вглядываясь в воду. Ветер налетел, блики засверкали по всему озеру, и показалось, что тут и там мелькнуло сразу несколько играющих рыбок, уже не в золотой, а в серебряной чешуе.

- Их много, таких красивых лягушек? – спросил Володька.

- Ты что, это ж была рыбка!

- Не-ет, - убежденно возразил Володька. – Лягуха... только очень красивая, в чешуе.

Тут и Семён засомневался:

- Наверно, сначала-то она была рыбка, а потом превратилась в лягушку.

Боковые-то плавнички и впрямь похожи были на лапки, и хвостом шевелила как-то иначе, не похоже на рыбку. Может, это не хвост, а задние лапы, сложенные вместе? У парнишки глаза острее, он не мог ошибиться.

Такое вот происшествие случилось, они его долго потом обсуждали и всегда о нём помнили.

Всякий раз, когда Володька, вымытый и обстиранный Семёном, возвращался домой, там тотчас догадывались, откуда он явился, где был. «Больше не ходи к нему, слышишь?» – наказывали Володьке, но дружеские чувства сильнее родственных, и парнишка прибежал тайком.

- Ты что – предатель? – грозно допрашивал его отец, явно испытывая ревность к Размахаяу.

- Не-а, - говорил Володька и опять обещал не бывать на другом конце деревни, однако сдержать обещание был не в силах.

А Семёну доставлял неизъяснимое наслаждение тот факт, что во вражеском стане он имеет своего человека. Это в корне подрывало неприятельскую силу, конечный итог противоборства представлялся Размахаяу победным.

- У меня своя агентура, - ухмылялся он мстительно. – Быть вашему Володьке пастухом, а не трактористом.

И вздыхал: как жаль, как жаль, что у него, Семёна Размахаяева, нет своего вот такого парнишечки, своего сына! А если был бы...

Размахеевский дом к озеру самый крайний; стоял, правда, немного бочком, а смотрел всеми тремя фасадными окнами на водное зеркало неотрывно, словно замороженный; таков уж облик у дома, таково уж выражение на его лице и во всей фигуре: похоже, что приглядывал за озером этак ревниво и строго, как хороший пастух за стадом.

У палисадника перед домом время от времени вырастали кусты сирени, но как дотянутся они до подоконника, Семён непременно вырубал их – чтоб не закрывали вида. А посидеть, уставясь в задумчивости на озеро, для него первое дело, с тем он и вырос, без этого и жизни своей теперь уж не мыслил. Должно быть, от долгого созерцания небесной синевы, утонувшей в воде, с годами ярче синели и глаза Семёна, придавая ему все более и более простодушное, ребяческое выражение.

Неутолимая жажда смотрения и размышления владела Семёном Размахеевым, и он тратил на это немалое время, а вообще-то мужик был неленивый и очень счастливо к ремеслам способный. Понравится какое дело – исполнял так, что любо-дорого смотреть; а не по душе – отвернется и задумается, тогда его не стронешь. Вот, скажем, выучился на механизатора самого широкого профиля – и на тракторе может, и на автомашине, и на комбайне, а проработал только одно лето, после чего плюнул и пошел в пастухи. Не от большого ума – так все решили. Стадо в Архиполовке невелико, много не заработаешь, а главное, зачем учился? Государство на него средства потратило, председатель Сверкалов на него рассчитывал, а он – коров пасти. Разве это разумно? Однако сколько ни переубеждали – отвратилась душа Семёна от техники, и все тут.

К тому же как посмотреть... Конечно, техника ему легко давалась, спору нет, а вот задумчивость губила. Время от времени на него словно остолбенение находило, и тогда все валилось из рук; он думал углубленно и сосредоточенно, уставясь обычно на озеро, и в эту пору ничем заниматься уже не мог. Такому ли человеку за рулем сидеть? Вот и выходит, что судьба распорядилась мудро, лишив колхоз механизатора и превратив Размахая в пастуха.

Скотный двор в Архиполовке давно уже старый – в обед сто лет будет. Пока стоит, а может и упасть, поднявши трухлявый дымок. Коров, которые в личных хозяйствах, на пальцах перечесть: ну у самого Размахая, конечно, имеется – зовут Светка; у соседки бабы Веры – Малинка; у подруг-доярок Полины да Катерины две холмогорки, сестры; у безногого Осипа Ко-

стрикина, дважды ветерана (войны и труда) – комолая красавица Милашка; у Холеры Сторожкова – Сестричка, рыжая, с палевыми боками и в черных чулках.

И вот как станет перебирать Семён коров в своей деревне, до Сестрички дойдет – хмурился, мрачнел: настроение сразу портилось при воспоминании. Не о корове, конечно, а об ее хозяине. Это ж не человек, а болезненное явление на земле - как болячка или прыщ он Размахаяеву Семёну; враг номер один, которого непременно следовало если не сокрушить, то хотя бы укоротить – так норовистую кобылку впячивают в оглобли, чтоб не лягалась.

Он чужеземец, но не в том вина Сторожка, а вот что не дорожил ничем здесь и не щадил ничего – тут уж нет ему прощения.

«Его не вразумишь, - качал головой Семён, размышляя, - у него желудок в голове, и там только пищеварение, никакого ума. Даже Сестричка умнее его».

Итого, всего-навсего, набиралось семь коров. И все. Ну и конечно, ферма – это, значит, шестьдесят голов. Председатель все собирался ликвиднуть ее, но бог не насовсем еще лишил этого человека разума – одумался Сверкалов: все-таки пастбища вокруг озера, а гонять сюда стадо из Вяхирева – далеко.

Десяток домов – вся и деревня. А сколько рабочих рук? Сосчитать: доярки, Холера-тракторист да он, Семён Размахаяев, за старшего куда пошлют – вот и все. Остальные пенсионеры.

Правду сказать, его руки кое-что строили: мужик работающий (примется за дело – неведомо как унять) – такова, кстати сказать, вся размахаяевская порода; плотничать может, столярничать (на огороде в вишеннике теремок для уединения сделал; у людей на такую кабинку посмотришь и плюнешь, а на Семёнову залюбуешься: деревянной резьбой украшена, веселой красочкой расписана); и печку сложить – лучше его нет мастера; и даже, взявшись однажды, колодец соорудил. Один, без посторонней помощи, зато с использованием им самим придуманных приспособлений. Долго, правда, он с ним возился, но и выкопал, и сруб сделал, а над срубом опять-таки затейливый теремок поставил. И тоже красочкой расписал, не хуже любого настоящего художника. Теперь они стоят, как два братца, теремочки эти – один перед домом, другой на огороде. Похожи, верно, а только по сути-то что же в них похожего?

«Вот и люди так, - философствовал мастер за этой работой. – Один добро творит, будто чистой водой поит; другой хлеб

в дерьмо переводит, и больше ничего. А снаружи-то посмотреть – одинаковы!»

С колодцем, правда, неувязочка получилась: чудной какой-то – зимой уходит из него вода. Не иссякает постепенно, а как-то в два-три приема отступит – и нету ее. А ведь не на сухом месте вырыл его Размахай – берег хоть и высокий тут, но до озера-то рукой подать! Почти весь год черпается нормально, и зимой, и летом, да вдруг однажды отступит глубоко, потом и вовсе ведро брякает на промерзлое дно: нету воды, то ли ушла вниз, то ли вверх испарилась. Словно заговоренная.

Семён колодец свой рыл как раз в январе–феврале. Он с ломиком и заступом вглубь, и вода вглубь – отступала, отступала, все дальше и дальше. Над ним Сторожок потешался:

- Ты, Семён Степаныч, имей в виду: земля-то имеет форму чемодана, и с той стороны, как раз напротив нашей Архиполовки, - Вашингтон; вылезешь – там тебя изловят, как шпиона, и не оправдаешься!

Остряк... Посмешнее ничего придумать не может. Так, дурь какую-нибудь.

Размахай не слушал никого, копал и копал дальше, свято веруя в успех. Глубина в его колодце стала – эхо отдавалось через трое суток. Старушка Вера Антоновна стала беспокоиться, уговаривать соседа принялась:

- Уймись, Сёма! Выкопаешь какую-нибудь беду.

Это она слышала, что нефтяные да газовые фонтаны, бывает, ударят из глубины, если этак-то землю дырывать.

Нефти и газа Размахай не открыл, но добрался до загадок: вдруг пошел грунт песчаный, а песочек попадался слоями, чистый-чистый; на снег его выбросишь – горит ярим желтым цветом, и в нем искры. Вскоре пустота вдруг открылась сбоку, в сторону озера – то ли карман, то ли пещера – и это страшно заинтересовало землекопа, но тут вода прихлынула, стала подниматься и вытеснила его наверх. Она вернулась в марте, под капель, но то была не верховая талая, а глубинная вода. Если выпить чарочку – зубы ломит от студености, а по жилам холодный огонь – сразу готов к труду и обороне. Откуда же она пришла? Ясно, что из каких-то неведомых глубин. Но какая сила ее толкала?

Было над чем поразмыслить.

- То-то... Глупый вы народ! – заявил строитель воодушевленно. – Вам бы черпать круглый год? Тут вам не водопровод.

Он иногда выражался этак кругловато, по крайней мере ему нравилась ритмически организованная и даже рифмован-

ная речь, потому и не избегал ее. Нет, не избегал. Молвит, словно из книжки присказку вынет – слова ладненькие, кругленькие, будто колесики, и что самое примечательное, в каждом вроде бы два-три «о» лишних. Именно за округлость любил Семён и слово «озеро».

- Потому «озеро», что обзор большой, - голос его обретал поучительный тон. – Оглядывать, то есть озирать, можно далеко, и зори в нем отстаиваются. О-зе-ро! – произносил торжественно и рукой поводил и взором. – О-зе-ро. Оно - как око земное.

Так убедительно говорил, что любой слушавший невольно впадал в размышление.

А вот жена Семёна в задумчивость не впадала, на нее мужнины рассуждения оказывали совсем иное действие: сердилась. Скажет он что-нибудь этакое – она упрёт руки в бока и выразится так:

- Из распашонок вырос, до школьной формы не дорос. Не в своем уме – в ребячьем, так и помрешь грудным младенцем.

Жене своей Семён рассказывал свои сказки про озеро; она дивилась и ругалась, не зная, как к этому относиться. Ну, посудите сами: и берега-то качаются, и камень-то на острове – не камень вовсе, а чей-то престол, на котором кто-то ночами посиживает; и родничок-то там сочтется не зря. И есть, мол, меж озерами и звездным небесным миром какая-то неведомая связь, и что сам он, Семён Размахаев, отмечен...

В подтверждение последнего засучивал рукав рубахи: на левой руке ниже локтевого сгиба семь родимых пятен расположились, точь-в-точь как звездочки Большой Медведицы: четыре родинки – сам ковшик, и три – его изогнутая рукоятка.

Такое не у каждого есть. Такое хоть кого повернет в удивление.

- А потому меня отметили, - объяснил Семён, - что я у судьбы в резерве. Я не зря на свете живу и уж недаром, что именно здесь.

- Свихнулся мужик! – говорила жена. – Экое диво – родинки! Да у меня их поболее, на любой вкус.

- Расположение не то, - спокойно возражал Семён.

Она была женщиной практического склада, отвлеченностей не жаловала, а чтит простой жизненный обиход, потому небесный знак на руке у мужа не шибко ее озадачивал: работай знай, нечего родинки разглядывать да на озеро пялиться, за это денег не платят.

Именно на этом рубеже супруги и противоборствовали. Пошлет она его за водой, он забредет по колени и стоит, будто пораженный громом. Или нагнется и следит, как перекачиваются по дну песчинки, образуя точно такую же рябь, что и на поверхности воды от легкого-легкого ветерка; и как торопится по этой подводной пустыне рак или жук, как играют у ног мальки...

- Опять остолбенел! – жена в сокрушении сердца хлопала себя по широким бедрам и кричала ему так, что звуки «О» выкачивались у нее из горла, грозно громокая, как тележные колеса: - Очнись, нетопырь! Что ты остановился-то, остолоп!

Она была ругательница, жена Семёна, и шибко его притесняла. Притесняла до тех пор, пока не спуталась с заезжим шофером, присланным с шефами из города на уборку картошки. После увлекательного шефства, которое происходило не совсем тайно – где ж тут утаишь, кругом родные просторы, населённые догадливыми людьми! – укатила она в Соликамск... или в Солигалич?.. Куда-то в ту сторону, хотя муж из дому ее не прогонял да и вообще не попрекал случившимся, а только очень удивился.

Она, может, оттого и уехала, что слишком глубоко было мужнино изумление: хоть и ругательница была, но не сказать, чтоб совсем без совести баба.

Случилось это не нынешним, а прошлым летом. Семён уже привык жить бобылем, но с недавних пор к нему стала навещать из соседней деревни дальняя родственница Маня Осоргина, которая вроде бы приходилась двоюродной сестрой его жене или троюродной племянницей его матери. В общем, как говорится, седьмая вода на киселе, однако же свой человек, и все тут.

Гостья эта тоже поворчать была не прочь, но именно поворчать, да и то по-доброму, а отнюдь не ругаться.

- Господи, для чего мужики живут? – говорила Маня, едва вступив на крыльцо Семёнова дома. – Они ж чистого места в доме не оставят! Везде намусорят, натопчут, ни одну вещь к месту не приберут. Сто раз наказывала: сапоги снимай у порога. Было такое или нет? В сенях-то, гляди-ка, грязи наносил, будто там лошади постоем стояли. А в избе-е-е... Нет, я спрашиваю, зачем вообще мужики на свет родятся? Какая от них польза?

Семён отвечал, что, мол, если уж они родятся, то наверняка не зря. В природе ни камень, ни птаха, ни озерная вода - что ни возьми! - не появляются просто так, а все со смыслом. Согласно этому смыслу надо с ними и поступать. И как знать,

авось и от него, Семёна Размахаева, будет толк, авось и ему найдут полезное применение.

Слушая его, Маня усмехалась и, минуты не медля, засучивала рукава кофты, принималась за дела. Все вещи в Размахаевом жилье приходили в движение: двери хлопали и окна распахивались настежь, так что ветер гулял во всех помещениях вплоть до подклети, стулья и скамьи кочевали с места на место, подушки и одеяла с кровати – на улицу и обратно... при этом радио говорило человеческим голосом, телевизор пел под собственную музыку, самовар шумел, квашонка пыхала ароматом сдобного теста... Но самое удивительное: куры во дворе вдруг принимались дружно нестись, а кошка Барыня приволакивала откуда-то мышь и клала посреди передней, будто отчет о работе за минувший период...

Полы и в жилой избе, и в сенях, и на крыльце Маня в обязательном порядке мыла, натирала дресвой при посредстве венника-голичка – натирала вдохновенно и самозабвенно, то и дело отводя пряди волос от мокрого лба, и любо было при этом смотреть на крепкие ее ноги да лопатки, ходуном ходившие по спине, на... впрочем, Семён старался не смотреть особо-то.

- Давай помогу, - предлагал он.

- А иди к черту! – посылала его гостя. – Твое дело только грязь в избу таскать.

Семён удовлетворенно ухмылялся, но к черту не шел, а слонялся возле дома, заглядывал в окна и двери и делал вид, что занят каким-то делом.

Маня топила печь, варила щей ведерный чугунок, пекла ватрухи невероятной величины и сдобные лепешки в таком количестве, что Семён не съедал потом и за неделю, они черствели и оттого становились еще вкуснее; осенью наквасила капусты, засушила грибов, насолила огурцов – все впрок, все в запас! Накормив мужика и обстирав его, приведя в образцовый порядок дом и хозяйство, она исчезала. Вопрос, зачем нужен мужик, на завершающей стадии ее работы почему-то уже не возникал.

Когда кончалась Манина еда – щи, ватрухи - Семён некоторое время голодал, искал по углам, не осталось ли чего-нибудь еще, не завалилась ли где лепешка или пирожок с грибами, а потом переходил на свою обычную пищу, каковой являлся овсяный кисель. О, это была еда, любимая им!

Вот смелет он на ручных жерновах лукошко овса, замочит – непременно в холодной колодезной воде! – с вечера на утро или с утра на обед десяток горстей овсяной муки, перед варкой

хорошенько разомнет руками это месиво и сцедит молочную жидкость, после чего на огонь ее. Тут уж стой, не отходи.

У овсяного киселя есть одна хлопотная особенность: при варке он капризен, требует к себе полного внимания, словно невеста от жениха. Если уж ты за него взялся, то вари, а ворон не считай, иначе пригорит. Внимания же, известное дело, вечно не хватает человеку размышляющему или мечтательному.

В глубокой задумчивости Семён бывал отнюдь не всегда, и кисель получался чаще всего отменный, но при мечтательном его настроении обязательно, собака, пригорал. Так что не отвлекайся, а стой и помешивай, помешивай...

- Ты это чего варишь, дядя Семён? – спрашивал Володька, вражий сын, но сам отнюдь не враг Размахая; спрашивал так, когда оказывался в гостях.

- Клейстер, - отвечал Семён.

У него выговаривалось «клизтир».

- А мне дашь клистиру?

- Да уж как водится.

Варить долго не надо: через несколько минут после того, как закипит, начнет киселек убираться в середину, этакой вороночкой – ну и готово. Теперь разливай его по тарелкам и ешь в горячем и холодном виде с черным хлебом, щедро посыпая солью – овсяный кисель соль любит! – и, конечно, поливая подсолнечным маслом; можно и с молоком. Еда эта такая, что и жевать не надо, болтанёшь языком – всего и делов.

Кисель утром, кисель в обед, кисель вечером... В сенях два мешка овса, с голоду не помрешь.

- Еда богатырей, ешь поскорей, - приговаривал Семён, угощая своего юного приятеля Володьку. – Они мясо не ели, потому и силу имели.

Сам он не богатырь, но хорошего роста, правда, немного сутуловат, не бравый, к тому же изрядно щербат и в верхних зубах, и нижних. Впрочем, щербины видны лишь когда он улыбается, потому Размахай старался зубов попусту не скалить, а быть построже. Может, из-за всего этого, он выглядел старше своих сорока с небольшим – лет этак на десять-пятнадцать; однако шапку зимой и кепочку летом носил, фасонисто сдвинув на ухо, отчего вид имел довольно лихой, молодцеватый. Хоть и не богатырь, хоть и то и сё, но ничем никогда не болел, во всяком случае в больницу нога его не ступала, вот только остолбеневал время от времени. Ну, мало ли у кого что приключается, и всегда ли все ясно, недостаток это или достоинство!

Если говорить всерьез о Семёне Размахееве, то в первую очередь следовало бы сказать о достоянии, которым обладал он один и больше никто в его деревне, да и далеко окрест... Но об этом потом. Тут надо сначала кое-что объяснить; об этом не всякому расскажешь, потому как не каждый может понять. Семён сознавал свое великое богатство, коим владел тайно, а посему поглядывал на людей со снисходительной жалостью и даже свысока – у них этого нет, и они сами в том виноваты. Он жил в своей Архиполовке немного на особицу, неулыбчивый, но не злой, странно временами столбенеющий, но ведь не дурак, и руки умелые; свой человек для всех и в то же время, черт его знает, чудной какой-то.

Свои деревенские знали всю его родоу: и отца – Степана Лукича, пришедшего с Великой Отечественной без ноги, однако же собственноручно построившего себе дом, что и доньше стоит; и мать, умершую после того, как заработала себе от поднятия тяжестей две грыжи; и деда Луку Савельича, носившего замечательную рыжую бороду, он, между прочим, знаменит был тем, что лучше всех сеял - горсть у него была самая ёмкая и рука отмашистая; и прадеда Савелия Кузьмича еще помнили – кузницей владел и за кузнечной своей работой (подковы, ободья для колес, замки, тележные курки) петь любил, с чем и остался в памяти... Ну, а самого-то Семёна знали как облупленного, здесь вырос.

Семёна любили и в то же время сторонились, словно даже побаивались, как побаиваются чего-то непонятного, необъяснимого. Впрочем, боязнь – наверно, не то слово. Тут нужно другое, которое обозначило бы настороженность с пренебрежением, шутливость с издевкой – вот такой сплав.

Каждый строил свои отношения с Размахеевым на свой манер, сообразно своему характеру. Вот соседка Вера Антоновна, хитрая старушонка из бывших сельсоветских работниц, убеждена, что умнее ее никого в Архиполовке и нет. Она, мол, все знает, всех насквозь видит, все понимает. А что касается соседа Семёна, то он перед нею совсем дурачок. А чего уж, у самой умишко-то куриный – жалость одна. Но старушка незлобива, и то ладно. К тому же, чем старше она становится, тем больше заинтересована в его соседской помощи: то ведро в колодце утопит – «Семён Степаныч, достань»; то хлеб кончился – «Сёма, коли пойдешь ли в Вяхирево, принеси и мне из магазина хлебушка буханочку», то калитка оторвалась, лист шиферный с крыши снесло, радио «не играет» – Размахай по-соседски сделает, поправит.

А вот Осип Кострикин, хоть и безногий, хоть и больной, никогда ни о чем не попросит. Скорее к нему на поклон пойдешь: у Осипа лошадь есть. Говорит: я ее вместо самоходной инвалидной коляски держу. И верно, куда б ему ни зандобилось – запряжет меринка своего Ковбоя в дрожки ли, в сани ли, смотря по времени года, ременные вожжи тронет – и поехал, покатил!

Осип Кострикин – хозяин. У него телевизор цветной, ковер на стене, хрусталь в буфете и баба толстая, молодая – всего пятидесяти лет.

Ну, доярки Полина с Катериной – эти балаболки. Дома ихние смотрят друг на друга через дорогу, словно переговариваются, как и их хозяйки. Одна замужем побывала, вторая нет, а детей-то ни у той, ни у другой. На Семёна они давно поглядывали-поглядывали да и плюнули от досады: никакого проку от мужика, особенно с тех пор, как Маня Осоргина к нему наповадилась.

Вот, собственно, и все население деревни. Остальные – старушки, которые то жили здесь, то к детям уезжали. А чаще наоборот: к ним самим кто-нибудь наведывался. Сбродная какая-то стала деревня, наполовину неоседлое население.

Так вот, все эти люди считали свое озеро рядовым, и настойчивое желание Размахая дать ему имя Царь-озеро никак не поддерживали. Что ж, то не вина их, а беда: они не знали самого главного...

4._____

В предзимье, когда стадо уже не выгонялось на волю, Семён Размахая превратился, как и в прежние годы, из пастуха в скотника. А по совместительству, по мере надобности, был еще и «подменной дояркой», слесарем-наладчиком немудреных механизмов при поении, кормлении и доении коров, иногда и ветеринаром, если настоящий ветеринар не мог добраться до Архиполовки, которая у черта на куличках.

Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, душа его была обращена к озеру. А озеро в эту пору всегда беспокойно: металось, словно в тоске и хотело выплеснуться, вырваться в муке со своего ложа; будто оно живое и чьи-то неумолимые когтистые лапы уже схватили его, отчего оно и мечется, стонет. Семён в эти дни был и сам тревожен, спокоен; бессонница маяла, аппетит пропадал, и все валилось из рук: дома овсяный кисель у него подгорал, на скотном дворе компрессор, чиненый

и латаный и слушающийся только Семёнова слова, не давал в доильные аппараты необходимой тяги... а тут еще Маня, как на грех, из-за непогоды и бездорожья не приходила.

От скотного ли двора, от своего ли дома Семён то и дело оглядывался на озеро; ветер наваливался откуда-то из-за леса, рвал последнюю листву с бережных кустов и молодых деревьев, пенил воду и гнал волну – волна качала берега!

Но, как и в прежние годы, при первых крепких морозах оно затихло и некоторое время, целую ночь, а потом и день лежало неподвижно, то ли умиротворенное, успокоенное, то ли просто не покорившееся судьбе. И вот тут поверхность его схватило ледком, прозрачным и тонким, как оконное стекло. Этот миг был неуловим: только что колыхалась или едва заметно вздрагивала водная гладь, можно было даже слышать игольно-тонкое позванивание льдинок, и вдруг уже остеклена, неподвижна.

Еще один день и еще одна ночь – лед стал в половицу толщиной; от молодости своей он хрупок: чуть топнешь ногой у берега – тотчас бежит трещина из края в край, будто молния по грозовой туче. А уж гулять можно по озеру – ледяной хрящик хоть и не заматерел, не стал еще костяной крепости, но уже достаточно прочен. Неделю продержался мороз – и вот уже хоть за дровами поезжай на лошадке на тот берег напрямик, будет держать уверенно, как бетонный монолит.

Успокоение наступило в природе; Семён же, однако, волновался все больше и больше – приближалось то время, которого он ждал с великим нетерпением, с замиранием сердца, как ребенок дня рождения, когда ему поднесут желанный подарок: однажды, уже в декабре, из озера начинала уходить вода. Она уходила не вся сразу, а сперва отступала быстро и замирала. А первый лед не успевал осесть, цеплялся за берега, за острова, за кусты, в общем, держался самостоятельно. Морозный воздух проникал под него, и на некотором расстоянии от первого льда на озерной поверхности за несколько дней намерзал следующий слой, такой же крепкий. По нему тоже простреливали трещины, перехлестывая одна другую, но потом и он затих.

И вот тут наступил долгожданный час, тот самый, о котором столько думалось.

В густом ивняке у берега Семён Размахеев спустился к озеру, пробил во льду широкий лаз, сел на корточки и, как курица, склонив голову набок, заглянул под его верхний слой. Озерная пустота дышала морозом, инеем, льдом. Жутковато немного было, но что-то властно манило и втягивало – Семён, повинувшись

этому зову, лёг на живот и осторожно вполз в пустое пространство между ледяными настилами.

Нижний слой был зеркально отполирован и очень скользок. Толстые прозрачные сосульки свисали с верхнего слоя и упирались в нижний, поддерживая ледяные своды – так столбы в строениях держат потолки и крыши. Отталкиваясь от них ногами, Семён легко заскользил к середине озера, где был остров, потом опять к берегу уже в другом направлении, и опять к острову.

Непрерывный хрустальный звон сопровождал путешественника. Искрился иней прямо перед глазами – это оседал пар от его дыхания. Тонкие льдинки иногда отламывались от движения ноги его или руки, скользили долго, разбиваясь где-то на бесчисленные осколки, которые в свою очередь удалялись, истончая голоса.

Так путешествовал Семён по озеру вдоль и поперек, дивясь всему, что видел. Переворачиваясь на спину, глядел на размытый лик солнца, на очертания ползущих по небу облаков и радужные разводы вокруг застылых воздушных пузырьков.

Сквозь ясный лед, еще не присыпанный снегом, Семён отчетливо различал вверху летающих птиц; бойких галок, живущих в Архиполовке, заполошных сорок да строгих ворон, обитающих в окрестных лесах, – они, конечно же, разглядывали лежащего подо льдом человека и, надо полагать, живо обсуждали меж собой столь необычное природное явление.

А перевернешься лицом вниз – в воде и вовсе чудеса: там плавали красноперые окуни, жирные язи, стаи серебристой плотвы и вялые, дремлющие щуки... Семён вглядывался в подводный мир: «А куда подевались мои лягушечки? Не видать... Небось, зарылись в донную грязь и спят себе... Такие красавицы – и в грязь. Что же, неужели до самой весны? Чем они там дышат?»

Пролом во льду, сделанный им возле ивового куста на берегу, стал дверью в ледяной озерный дом. Через этот ход уже залетали воробьи, чирикали оживленно; тут и там попискивали синицы, снегири; за ними охотилась кошка Барыня. Однажды запрыгнул заяц, спасаясь от кого-то, и забился в обледенелые заросли возле острова; и лиса раза два мелькнула, обшаривая берег в поисках мышей. Даже вороны заглядывали сюда, каркали строго, но не решались пуститься далее. Так что отнюдь не мертво, а обжито и даже весело было здесь.

Семён возвращался домой в приятной усталости, был задумчив, рассеян, душой его владело прекрасное, волшебное чувство.

- Ты где пропадаешь? – спрашивала навестившая его Маня. – Тебя искали.

- Кто?

- А доярки. У них там компрессор барахлит.

- Я ж им наладил утром.

- А он опять...

- Ничего, перебьются.

Маню удивляло, что отвечает он безучастным тоном, как говорящая кукла. Капризный компрессор совершенно не заботил его; Семён сидел, облокотившись на подоконник, и взглядом тянулся туда, откуда пришел.

- У бабы Веры пробки перегорели. Сходи, Сёма, вверни новые.

Он молчал. Она нарочно приставала к нему с такими заботами, желая растормошить.

- Ты где находишься сейчас? – спрашивала Маня и заглядывала ему в глаза. – Улетел за тридевять земель? Когда вернешься?

Ему в общем-то хотелось рассказать ей, где был, что видел, но нельзя, нельзя! Не поверит она и ничего, кроме полного конфуза, не выйдет из его откровенности; надо смириться с тем, что знание его неразделимо; он один во всем белом свете причастен к этой тайне, а остальным она не дастся, нет... Впрочем, если очень хочется, то можно попробовать ввести Маню в этот мир, как в сказку. Взять с нее страшную клятву, чтоб никому и никогда не проболталась, и рассказать все.

- С тобой что-то случилось, Сёма? – допытывалась она.

- Тебе только расскажи, - ворчал он, томясь от бремени своей тайны. – Ты всем разболтаешь.

- Я? Да ни в жисть, Сём!

Нельзя было верить этой женщине, а как умолчать? Семён посомневался еще немного и начал будто нехотя, а потом все более и более воодушевляясь.

Маня слушала про ледяные зеркала, про сосульки-столбы, подпирающие прозрачный потолок, про тонкий хрустальный звон, сопровождающий каждое движение путешествующего, и прикрывала улыбку ладонью: он и раньше рассказывал ей всякие небылицы, то про лягушек-свистунов, то про ныряющих ласточек, а теперь вот, вишь, про зайца, который заскочил под лед и забился в оледенелую осоку, где каждый стебелек будто зеле-

ная палочка в сладком леденце. Зайца этого, конечно же, можно погладить и потрепать за уши; он, того и гляди, заговорит человеческим голосом; точно так же и лиса, которая разыскивает его, пробираясь по льду, оскальзывается. Узнала Маня и про снегирей, скачущих тоже подо льдом, будто раскатываются краснобокие яблоки... Она круглила глаза, надувала щеки и, наконец, не выдержала, засмеялась, вздрагивая пышными плечами и пышной грудью; грубоватое, некрасивое лицо ее похорошело от этого смеха.

- Но я же сегодня белье полоскала на озере – подо льдом вода! Никуда она не отступила.

Семён не смеялся; он грустно смотрел на хохочущую Маню и объяснял вроде бы виновато:

- Возле нашей деревни заводь, она зимой это самое... обособляется. Озеро само по себе, а заводь сама по себе. Но речь не о том, погоди, не смейся.

Нет, она не могла всему этому верить. Да он и сам не поверил бы, но ведь... путешествовал же! И это путешествие повергало его в глубокое раздумье.

- Я ведь тебя к чему подвожу-то!.. Ты представь себе, сколько живности всякой в этом мире! И жуки-плауны, и рыбы, и лягушки – все вместе! Одних лягушек не счесть, а двух одинаковых не сыскать. И тут же рядом с ними звери, птицы... Вон у меня сверчок. Касьяшка под голбцем поет, а в подполе мыши пищат. И так повсюду. Теперь подумай: ведь мы притесняем их безбожно, вторгаемся в их жизнь и вносим великую сумятицу и суматоху, и губим, губим бессчетно. Зачем? Почему? И это у нас-то разум? Это мы-то цари природы?

- А ты не лезь куда тебя не просят, - советовала Маня. – Не пугай этих рыб да и меня тоже. Бог с ними, Семё! И сверчок твой мне надоел. Ты вот что скажи: корова у тебя скоро телиться будет. Устережешь ли?

Он не слушал ее:

- Ты не понимаешь. Я-то не вторгаюсь, не обо мне речь. Я беру в мировом масштабе, ясно тебе?

- Там без нас разберутся, в мировом-то масштабе. А вот со Светкой как быть? Отелится ночью, а ты по ночам дрыхнешь. Сказки-то мастер рассказывать, а теленочка застудишь: морозы день ото дня крепчают.

В позапрошлом году Светка отелилась днем. Семёна дома не было – явился под вечер, охапку сена в ясли бросил, пойло вынес – новорожденного в темноте-то не заметил. И так дня три. И вот, выйдя однажды во двор, услышал молодой телячий

мык и глазам своим не поверил: теленок весело скачет по двору. Резвый, собака, и ужасно сообразительный оказался, глаза больно уж умные. Семён любил давать всякой твари человеческие имена и этого называл Митей. Летом бегал Митя в стаде, а осенью отвел Семён его на колхозный двор и уговорил на племя оставить бычка: насовсем расставаться не хотелось.

А в прошлом году история повторилась, с той только разницей, что родилась тёлочка. И ее тоже взяли в колхозное стадо: хорошая порода – и удоиная, и разумная.

Чего баба возникает? Не Семёново это дело – повитухой при Светке быть. Корова сама справится, не глупее его да и самой Мани тоже.

По ночам он, верно, спал хорошо: снились ему плавающие красноперые птицы и летающие рыбы с клювами, кошки с рыбьими глазами... А однажды ночью в животе у Семёна Размахалева вдруг проквакала лягушка. Он проснулся, пошарил рукой по одеялу – как она попала в постель? – и нащупал лежащую рядом Маню.

Лягушка проквакала еще раз, и теперь уже не было сомнений, что это именно в его животе, а не где-то в ином месте. Кажется, она уселась на печенке, перебирая холодными лапками, и опять аккуратненько, вежливо сказала: «Ква-ква».

Семён озадаченно пихнул Маню в бок, а та только сладко вздохнула и не отозвалась.

«Проглотил я, что ли, эту лягуху?» – подумал спросонок Семён, слушая, как щекотно хозяйничает она у него в животе. Стал вспоминать прожитый день – нет, лягушек не глотал, это точно. День был хороший, без особых происшествий, а вот ночь, нате вам, пожалуйста.

- Маня! – позвал Семён с затаенным дыханием и еще раз пихнул ее в бок.

- Му, - невнятно отозвалась та и сладко потянулась.

- Ты слышишь?

Она в ответ опять сказала свое «му» или «ну».

- Лягушку, говорю, слышала?

Маня пригребла его властной рукой, ткнулась лицом ему в плечо и продолжала спать. Да, может, так-то и лучше: не дай Бог проснется, тогда уж до рассвета не уснешь, это точно. Она живо растолкует, что будить женщину среди ночи без серьезной на то причины просто бессовестно.

Что же теперь, собственно, с этой лягушкой делать? В больницу идти? Спросят: на что жалуетесь, больной? Так, мол,

и так, лягушка в животе завелась... Умора! Хорошо, если просто посмеются да и отпустят, а то ведь захотят проверить, все ли дома у мужика.

«А если и в самом деле обнаружат лягушку? Просветят рентгеном, а она сидит, животик себе почесывает. Что тогда?» А тогда, надо полагать, посадят его, Семёна Размахаяева в музей или зоопарке и будут показывать добрым людям за деньги.

«Ладно, пусть живет, - решил Семён сквозь полусон. – Всего и делов, что квакает... Не любо – не слушай, а спать не мешай. Закон для всех одинаков: живи и жить давай другим, будь ты лягушка, или человек. Мирное сосуществование!»

От такой утешительной мысли уснул, и снилось ему, что лежит он – берег вместо изголовья, и ни рук, ни ног, только голова да брюхо просторное, величиной с озеро, и живет в нем одна-единственная лягушка, а больше никого. А потому одна, что поел он чего-то или даже выпил и вот отравил своё обширное чрево. Семён ужасно расстроился: как так, было столько живности, куда ж подевалась? Пусть бы плавали рыбы, шелестели осокой стрекозы, водили усами клешнятые раки. Как же он мог, Семён Размахаяев, потравить эту всю живность? Уцелела только одна-единственная лягушка... Зато была она красавица, прямо-таки царевна – это он видел неким внутренним взором - в чешуе, как у золотой рыбки, с бирюзовыми глазами, веселая, голосистая. Семён ясно видел ее у себя в животе-озере.

- Ква-ква, - напевала царевна-лягушка. – Ква-ква-ква.

То ли в яви напевала она, то ли так ему снилось... Скорее всего – сон. Он тек себе неспешной чередой, как майская ночь в темноте и теплоте...

«На что мне лягушка?.. – продолжал думать Семён и во сне. – Была б золотая рыбка! А с лягушки разве спросишь?.. Приплыла бы ко мне рыбка, спросила: чего тебе надобно, сонная тетеря?.. Чего ты, мол, хочешь, Размахаяшко? А я ей в ответ: ничего, мол, не надобно, пусть только останется все, как есть, нетронутым... пусть будет мирное сосуществование... чтоб все любили друг друга и никто б никому не мешал. Разве это невозможно? Ведь должно же быть хотя бы здесь разумно и справедливо, хотя бы на моем озере».

- Все, что в наших силах, сделаем, - утешал его кто-то лягушачьим голосом. – Но, может быть, ты что-то хочешь и для себя, а?

«Хочу, чтоб был у меня парнишечко свой, сынок... круглоголовенький, с белыми волосиками, чубчиком-скобочкой... с вы-

гнутой спинкой... чтоб свой собственный, своя кровь, моя душа... был бы надёжей и опорой, когда вырастет...»

- Не кручинься, будет у тебя сынок... Все в наших силах!

Сон колыбался, как озеро, покачивая его, и из глубин откуда-то выплыли ухмыляющиеся рожи Сверкалова и Сторожка, которые говорили: «А не будет твой сын пастухом – пойдет в трактористы! Он загонит трактор в озеро, чтоб мыть его, как лошадь, а остатки дизельного топлива сливать в воду...»

«Не-ет! – сердился Размахай. – Не по-вашему будет!»

«Нет, нет, нет», - уверенно квакала и лягушка в лад ему.

«Не зря сказано: яблочко от яблоньки далеко не падает. Мой сын не пойдет поперек отца, он не предаст ни меня, ни озеро. И Володька не предаст. Мы все будем заодно...»

«Так, так, так», - утешала лягушка.

Утром проснулся, – живот пощупал: нет там никого! Надо же, чего только не приснится человеку во сне...

5. _____

Все, что было до сих пор, - это только начало: как озеро замерзало, как лед нарастал этажами. Главное происходило потом.

Наступил день в середине зимы, а если точнее, то в феврале, когда в Размахеевом колодце ведро брякнулось на твердое дно и возвратилось пустым. Семён догадался, что вода ушла и из озера. Вся.

Этот день сразу стал для него праздником. Ликующий, воодушевленный, отправился он в те кусты ивняка, державшие верхние слои льда наподобие крыши крыльца перед неким жильем; спустился в проём, съехал по крутому обрыву до самого низа...

Каждый раз в такие минуты у него замирало дыхание и тонкие иголочки страха покалывали сердце – это чувство не оставляло его и потом, рождая тот восторг, от которого навертывались слёзы. Счастье Семёна в эти минуты было всецелым. Именно так: и страх, и восторг, и счастье – все вместе.

Серые сумерки, подголубленные сверху, окружали его. Где-то хрустально журчал ручеек, да и не один. Длинные сосули свешивались от ледяного потолка, кое-где упираясь в дно, гирлянды поблеклых водорослей обвивали их или просто лежали на дне. Чистейший песок яро желтел, особенно там, где пробивались из земли роднички. На пригорках приходилось слегка на-

гибаться, чтоб не стукнуться головой о ледяной потолок; хрустело под ногами мёрзлое водяное былё и пахло почему-то клейкими стрекозиными крылышками. Лед над головой нестерпимо голубел; желтый диск солнца плавился в нем, как комок масла на сковороде.

В бывших заливах и возле острова Семёну открывались пространства с такими высокими сводами, какие он видел разве что на московских вокзалах. Здесь можно было поместить не один дворец...

«Вот откуда все эти придумки насчет подводных теремов и водяных царей! – догадался Семён. – Кто-то задолго до меня уже видел такое же, потом рассказывал, а люди ему не верили, принимали за выдумку. А ведь ничего нельзя выдумать на пустом-то месте, чтоб ни на что непохоже – все было, было!»

- В чешуе, как жар горя, - бормотал он, озираясь, - тридцать три богатыря... Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор...

Тут и там в донных ямах с водой видимо-невидимо скопилось рыбы. Страстным рыбаком Размахай никогда не был, но тут проснулся в нем ловецкий азарт, который не унять. Он присел на корточки, опустил руки в ледяную воду и гладил лениво шевелящихся щук, заглядывал в тусклые глаза налимов и язей, переваливал с боку на бок горбатых от матерости лещей; целое месиво плотвы овсяными хлопьями шевелилось у него под ладонями...

Рыбы теперь были дружны меж собой, и щука уже не гоняла окуней, и окуни не гоняли уклек, и жерех не покушался на красноперку – они совместно пережидали выпавшие им на долю невзгоды. Потом, едва лишь прихлынет большая вода, вспомнят они старые порядки, когда одни догоняют, а другие спасаются, - а пока мирно плескались в исходящих паром ямах, жадно хватая верховую воду.

Семён ходил от ямы к яме, играл с рыбой, приговаривая: «Ишь ты! Ишь она...» – и не мог устоять перед искушением: выбирал себе сома. Непременно сома и чтоб самого большого. Огромную эту рыбину он перехватил по жабрам поясным ремнём и, перекинув ремённую ляжку через плечо, выволок на крутой обрыв и через пролом во льду – на берег; она лежала потом у него дома на полу, как бревно, и медленно засыпала.

В Размахаемом доме начался пир на много дней.

Рыбой пахла горячая печь, рыбный дух пропитывал кирпичи ее, толкал заслонку, наполнял все углы, пробивался в сени и на чердак. Изба сытно посапывала, довольная своим хозяином.

А Семён посиживал у окна, посматривал на заснеженное озеро, доставал из чугуна куски пахучей, ароматной сомятины, вкушая, держал почтительно обеими руками.

Жаль, что Маня в эти дни отсутствовала; жаль, что зимой Володька не мог добраться до него по сугробам – Семён сидел в одиночестве, и оттого его счастье не было полным.

А как бы удивился кто-нибудь, застав его за такой-то едой! И позавидовал бы, да и зауважал бы: забогател Семён!

- Разве можно поймать такую рыбку среди зимы? – спросил бы... ну, например, Осип Кострикин. – У тебя и сети нет, Размахай чёртов! Как ты ухитрился?

То-то, что ухитрился. То-то, что сумел: голыми руками поймал. Жаль только: нельзя с Володькой вместе спуститься на озерное дно и погулять там, держа парнишку за махонькую ручонку. А уж он подивился бы! Но нельзя, нельзя: расскажет отцу, а тот...

Если узнает Сторожок, въедет под лед на гусеничном тракторе, начерпает рыбы в прицепную тележку или сани, наложит стогом и – прямым ходом в город, на базар, чтоб продать и потом где-то в хитром месте купить магнитофонные ленты с оглушительной, как бомбежка, музыкой. Останутся на озёрном дне только следы тракторных гусениц да разводы солярки. Да еще придется при встрече выслушивать бахвальство: «А я достал Рони Эдельмаса, Ферлуччи и рок-группу «Ковантере»... Да, ведь ты, Семён Размахайч, в этом деле ни бум-бум, да? Глухо, как в танке, верно?»

У Сторожка свои удовольствия: врубит свой заморский магнитофон – домишко ходит ходуном; у коровы-ведерницы, которой придумали такое хорошее имя – Сестричка, пропадает молоко; Володька таращит глаза и начинает заикаться; галка, глядишь, летит по своим делам – над домом Сторожка ошалело закувыркается, плюхнется на землю, а дальше идет уже пешком и только на большом удалении очухается, взлетит.

Это у Холеры называется музыкой. Слава Богу, что живет на противоположном конце деревни, а то Семёну был бы выбор: или самому кинуться в озеро, или эту аппаратуру украсть и утопить в отхожем месте.

Нечего и думать, чтоб кому-то рассказать, как ловится зимой в озере рыба! И ни-ни! Выловят, выгребут без всякого чуру,

все подчистую, даже мелочь – мало того, повыдергают донную травку, запакосят чистый донный песок, затопчут роднички...

И все-таки Семён чувствовал себя виноватым: уволок рыбину в свой дом, как собака мозговую кость в конуру, и грызет-наслаждается в одиночестве, ни с кем не делаясь. Нехорошо это. Некрасиво. А как быть?

Если, например, Сверкалову Витьке сказать, он что сделает? Небось, начальство захочет ублажить, чтоб ему, председателю Сверкалову, потачку давали побольше. Устроит им выезд на природу, то есть залезут под лед пузатые начальники, разведут костер, поставят водочку на льдиночку... «А мне, Семёну Размахаяеву, прикажут у пролома стоять на стрёме, чтоб их там никто не засвидетельствовал... Не-ет!.. Нет-нет, хрен вам всем! Никому я не скажу, а без меня вы ничего не узнаете... Ха-ха! Нашли дурака!»

Он благодумствовал, он ликовал, держа долю соминой спины в пригоршнях, как долю арбуза, и погружал в нее чуть ли не все лицо... и вареная голова сома поглядывала на него белым глазом, ухмылялась; владей мной, Сёма, ешь меня, Размахай, не стесняйся.

Вокруг его избы на рыбный запах собрались все деревенские коты, именно на рыбный запах, а не к кошке Барыне. Но они людям ничего не могли сказать, и потому не знали о его, Семёновом, счастье ни соседка баба Вера, ни безногий Осип с толстухой-женой, ни доярки Полина и Катерина, ни Валера Сторожок с семейством.

Рыбу из донных ям можно мешками таскать, даже возами возить! Богатое озеро, рыбное и никакими рыбхозами не обловленное. Но и в прежнюю зиму, и теперь Семён взял только одного старого сома. Больше ни-ни.

- Что я, спекулянт, что ли! – говорил он сам себе солидно. – Или браконьер какой? Умный человек не может быть жадным, жлобами и скупердьями бывают только дураки. Ну, а я с разумом мужик... у меня все по чести и по совести, как у этих... у них в отряде тридцать три и все богатыри...

Хоть и ростился, хоть и пыжился гордостью, а чего уж там по чести да по совести, когда не сомы его ели, а сам он ел солма – разница! Где ж тут справедливость? Она в братстве и равенстве, она в мирном соседстве, когда никто никого не обижает, никто никому не мешает и уж тем более один другого не ест, обсасывая каждую косточку. А нет справедливости – совесть и честь ни при чём.

Сознание этого смущало Семёна, но он отгонял коварную мысль: «Во всех делах соблюдай меру! Это уж совсем быть глупым: посидел у рыбных ям и ушёл с пустыми руками. Нет, всё в меру: только одного сома. Ну, разве что маленьких окунишек для навару. Ну, разве что щуку для рыбного студня. И больше ничего».

Можно бы, конечно, бабе Вере преподнести соминый бочок – все-таки соседка! – но ведь она хитрая разиня-то: станет подсматривать да и выследит его. Сама в озеро не полезет, а другим разболтает, у нее не улежит. Из хорошего получится плохое, из добра – зло.

- Ладно, я ей летом щуку поймаю, она любит, - утешал себя Семён. – Неизвестно ещё, полезна ли старикам жирная рыба...

А что касается Виться Сверкалова... эх, разошлись дорожки давным-давно. И вот что чудно, если разобраться: они были поначалу, на заре-то жизни, вот в Володькином возрасте и постарше, друзья-приятели, то есть один, как водится, повелитель, а другой – исполнитель. Чего Сёмка прикажет, то Витюшка выполнит; что Сёмка предложит, с тем Витюшка согласится. И никогда наоборот!

В школу ходили в Вяхирево; у Сёмы в портфеле рядом с учебниками ватруха сдобная, у Витюшки – ломоть чёрного хлеба посоля. Размахаяевы – народ хозяйственный, не то что Сверкаловы, потому у Сёмки штаны собственные, на него и покупали, а Витюшке достались от старшего брата, уже обмурыженные со всех сторон. Сёмка учился легко, весело – грамотей! А Витюшка соображал туго, из класса в класс переходил еле-еле.

Так и казалось: быть Размахаяю председателем колхоза, а Витюшке идти в пастухи. А получилось наоборот. Почему? Да вот почему: очень уж читать любил Сёма про всяческие путешествия, сказочные происшествия да про то, где какая живность водится и почему. Говорено было отцом: гляди, парень, книжки до добра не доведут, потому как жизни в них нет, одно отражение, как в зеркале, а раз так, то чему ж в них можно научиться? Главное-то всё-таки жизнь! Но разве сыновья отцов слушают...

Мечтательным рос Размахайчик; в школе, верно, всё положенное схватывал на лету – всякую эту алгебру, химию, физику – но как-то быстро забывал или пренебрегал ими, будто нестоящими. А Витька-тихоня усваивал с трудом, но прочно; семилетку закончил на тройки, десятилетку – на четвёрки, в институт хоть и с третьего захода, но поступил, а теперь вот прочно сидит на

председательском стуле, словно врос в него, как бряквина в грядку.

В то самое время, когда Размахай чем взрослее становился, тем рассеянее и задумчивей, друг его всё увереннее стоял на земле, плечи его наливались силой, взгляд – твердостью, голос – басовитостью... и вот теперь Сверкалов Виктор Петрович распоряжался всем в округе, вершил судьбы людские, в том числе и судьбу бывшего своего друга, а Размахай ничего не решал, жил в избушке на берегу озера, и даже разбитое корыто нашлась бы в хозяйстве у него, если поискать. Именно Сверкалов, распоряжаясь тракторами да бульдозерами, экскаваторами да прочей техникой, приказывал, где и что выкопать, выкорчевать или заровнять, какой холм снести или гору насыпать, который лес или болото уничтожить и куда какую проложить дорогу; именно он определял лицо родной стороны, а Размахай не имел никакой власти и не мог противостоять даже раздолбаю Сторожку.

Так кто хозяин жизни? Вопрос это не праздный, он не в самолюбие упирается, а в самое святое – судьбу родины.

«А вправду, кто?» – задумывался Семён, совершенно точно зная, что его друг, теперь уже бывший, этого вопроса себе не задает, ему-то все ясно: он власть – он и наверху.

Но ведь это не совсем так! Семён в утешение себе мог бы сказать, что ему доступно такое, о чем Сверкалов и не ведает. Можно жить с человеком бок о бок много лет и не понимать, чем он дышит; ходить по земле и не чувствовать ее сокровенной сути – таков удел глупых и глухих. Здесь объяснение их злых поступков. Бедный и нищий человек Виктор Петрович, председатель, именно бедный и нищий – какой он хозяин!

Можно было Размахаеву Семёну думать так и этак, на то его вольная воля, но, пожалуй, одно преимущество имел Сверкалов, безусловно: когда у председателя передний зуб вывалился – он вставил золотой; а у пастуха порушилось в разное время шесть штук, самых передних – ему и железные вставить недосуг: так и живет со щербатым ртом, в то время как враги его щеголяют или с белыми природными, или с золотыми.

Каждое лето изо дня в день с апреля по октябрь выгонял он коров навстречу солнцу, и как оно неторопко поспешало по небу, так и пастух Размахаев неспешно двигался со своим стадом вокруг озера. Сам тоже пасся на берегу, редко заходя со стороны поля. Он не был водителем или повелителем стада, а просто находился при нем, как бы в одной компании с коровами,

вот и все. Буренки и пестрянки занимались своим жвачным делом, а он своим: плел корзины, выстругивал домишки для птиц, толковал с кем попало, будь то человек, или корова, или просто лягушка, читал книги...

Кстати, о книгах: они у него дома стояли на божнице, занимали посудный шкаф и лежали в сундуке; но было и несколько любимых, которые частенько совершали вместе с ним путешествие вокруг озера. Вид у них уже самый жалкий, поскольку уже мокли на дожде или за пазухой от пота (на обложке «Земли Санникова» ухо мамонта размыло), прожжены были угольками, что выстреливали из костра (такому испытанию подвергся многотерпеливый Робинзон), трёпаны и мяты (угол книги Арсеньева «Дерсу Узала» телёнок пожевал) – и от всего этого ещё более любимы.

Но одна книга почтительно хранилась дома в потаённом месте за доской припечка, толстая, с рисунками древних городов, странных людей, давно отшумевшей жизни – Семён никому ее не показывал. Впрочем, кое-кто знал о ней, например, Сверкалов. Он однажды приехал в Архиполовку с каким-то кандидатом наук, и оба пришли к Семёну посмотреть на его главную книгу. Кандидат многозначительно сказал, что рисунки в ней принадлежат какому-то Гюставу Дорэ, и предложил за нее сотенную – это месячный заработок доярки или пастуха - на что Размахай только хмыкнул презрительно. Тогда ему посулили двести, но ответ услышали тот же. Уехали ни с чем.

Чтение книг повергало его всегда в глубокую задумчивость, и то были самые заветные минуты. Он садился под куст, спускал босые ноги к воду и смотрел, смотрел – не на воду, а на всё озеро сразу. Прекрасно было лицо его в эти минуты – плохо побритое, сильно загорелое, с хрящеватым носом и резкими надбровными дугами – а особенно хороши глаза, кроткие, беспокойно-мечтательные, доверчиво-требовательные.

Стадо гуляло само по себе, пастух сидел сам по себе. При такой пастьбе Размахай непременно ближние поля потравит, и за лето раза два Сверкалов его оштрафует. Но на провинившегося это не влияло, ему, конечно, досадно было, он даже выражался в адрес председателя, однако поведения своего не менял. Да и не мог уже, наверно, изменить!

- Ты что пасёшь, озеро или коров? – не раз увещевал его председатель, с которым некогда Сёма Размахаев сидел на одной парте, и, казалось, не было на свете дружбы крепче, нежели у них. – Ты в состоянии выполнять самую обыкновенную работу или нет?

Не просто так спрашивал, а этак распекал, значит. И не беспричинно ведь! Вина пастуха была несомненна, от нее не от-
вертишься. В самом деле, кого он пасёт? Не водоплавающую ли
мелкую живность? Не побережных ли птиц?

«А всё! И так должен делать каждый человек, кем бы он
ни был: председатель или пастух, кандидат наук с сотенными
бумажками или парнишка Володька».

- Пашня слишком близко придвинулась к берегу, стадо уже
не может пройти свободно, - объяснял Семён. – Зачем ты ве-
лишь распахивать берега? Соображай маленько: если озеро ли-
шится леса и кустов, оно обмелеет.

Тут Сверкалов свирепел и выражался, как в прежние вре-
мена, когда они вместе ходили в школу, по-свойски:

- Да заткнись ты со своим озером! Надоело слушать ду-
рацкие рассуждения! Твое дело телячье: об...ся и стой! Ясно?
Тебе поручили стадо пасти! Ты слышишь? Стадо! А не пташек
да рыбок. Исполняй ту работу, за которую деньги получаешь, а с
остальным мы без тебя разберемся. Ты пастух или кто?

НА архиполовской ферме коровы самые удойные, в полто-
ра раза больше молока дают, чем на прочих колхозных – а это
разве не заслуга Размахаева Семёна? И телята архиполовские
выгуливаются такие, что хоть на выставку. Председатель об
этом знает прекрасно, так что пусть не попрекает куском хлеба.

- Товарищ Сверкалов, - издевался пастух над бывшим дру-
гом, - созерцание влечет за собой наблюдение, а оно в свою
очередь рождает открытие. Я не просто так хожу возле стада –
я думаю! И не ухмыляйся. Может, я открою что-нибудь такое,
чтобы всех спасти от неминуемой гибели. Разве ты не видишь, к
чему мы идем? Рубим сук, на котором сидим. И топор, между
прочим, у тебя в руках, у тебя! Волна качает берега, скоро нас
захлестнет.

Председатель безнадежно махал рукой – «Завел свою
шарманку!» – и отступался.

Они не говорили на душевные темы давно уже, с тех
блаженных детских лет, когда размахаевская ватруха с творо-
гом и сверкаловский ломоть черного хлеба с солью разламыва-
лись поровну и каждому из закадычных друзей доставалась по-
ловина того и другого. А с тех пор... вот разве что время от вре-
мени, очень редко случался у них примерно такой разговорчик:

- Видишь ли, работа должна приносить человеку радость, -
ронял Семён как бы между прочим. – Нет радости – значит, что-
то не так, какое-то неустройство.

- А долг? – строго спрашивал Сверкалов.

- Что долг?

- Человек всегда обязан помнить о своём долге, Сёма: хочется ли, не хочется ли, а исполняй работу. Радостно ли, нет ли, а изволь трудиться во благо и приносить людям пользу. Желательно максимальную.

Такие поучительные рассуждения сердили Семёна. В них всё балаболство, все слова 0 шелуха. Что такое «польза»? Какое он, Сверкалов, вкладывает в это слово зерно смысла? Что действительно полезно – как он определяет? Или вот «долг». Опять неведомо что держит в этом словце, как в кожуре. Что такое «трудиться», «работа»? Труд труду рознь: один действительно необходим, а другой бессмыслица, нелепица. А раз нелепица, то при чём тут «исполняй» и «изволь»? Так что же в этой болтании языком? Всё ложь, всё пустое словоговорение, пустозвонство. Прямо-таки злоба охватывала Семёна, когда приходилось ему выслушивать такое.

- Это полова,- хмуро отвечал он председателю. – То, что ты говоришь, - полова.

- Почему?!

- Ты исполнял свой долг, стоя в Вяхиреве то силосную башню, то силосную траншею... а теперь вот животноводческий комплекс на полтора миллиона рублей отгрохал. Ну и что получилось? У нас ни пастбищ, ни кормов. Я у тебя раньше спрашивал русским языком: зачем строишь? для чего городишь? А ты мне: так велют, я исполняю свой долг. А теперь что с твоими башнями, траншеями да комплексами? Молока прибавилось? Мяса стало больше? Ты исполняешь свой долг, а колхоз кругом в долгу... и комплекс в навозе потонул.

- Что ты мне, Сёма, его под нос съешь, когда мы с тобой о призвании человека говорим! То есть о высоких материях, а не о навозе.

- Да не другое, а всё то же.

- Что ты можешь понять! Не берись судить, Сёма, ты тут ни уха, ни рыла...

Не очень связно, однако же напористо философ Размахеев объяснял философу Сверкалову: красота, мол, неотделима от пользы; если красиво – значит, полезно. Если, мол, работа человеку по душе, он ее исполнит красиво, тот есть с максимальной пользой. А если он сам себя насилует, чтоб чужой приказ выполнить – толку суть, получается уродство. Ну и так далее.

Сверкало слушал его нехотя, иронически улыбаясь, то и дело вставляя что-нибудь язвительное.

- У тебя везде подневольный труд, - наседал пастух на председателя. – Ты обыкновенный эксплуататор, потому что заставляешь людей, приневоливаешь исполнять работу против их разума и совести.

- Ну и гусь! – отбивался председатель от пастуха. – Ну ты и уникам... Я же тебе ясно говорю: когда не нравится, да не хочу, да не по нутру и прочее, вступает в силу понятие долга. Надо, и всё тут! И ты мне детские рассуждения преподносишь. Я тебе про «надо», а ты мне про «хочу». И то хочу, и это хочу. Все бы так-то рассуждали, как ты, - ничего на земле не стояло бы. Не земля в ее нынешнем виде, а пустыня, дебри лесные и в них обезьяно-человеки – вот что было бы, дай только волю таким, как ты. Потребители вы, Семёна, вот что. Вам бы только взять, да полегче, а кто давать будет?

- Тыфу ты, мать твою! – начинал сердиться Семён. – Куда ж ты влез-то? Как худая корова в потраву. Давай сначала.

- Да некогда мне с тобой судачить!

- Нет, погоди. Значит, так: работа должна быть в радость, радость в свою очередь толкает человека к труду – вот он, золотой круг! Тогда человек почти что Господь Бог: творит и созидает, делает чудеса, кем бы ни был. Вот к чему надо стремиться.

- А кто мне озимь потравил! – взрывался Сверкалов. – Чье стадо целый гектар ржи потоптало? Чьи это чудеса? Твои или Господа Бога?

Он вообще частенько нажимал на горло, чтоб одержать верх в споре. Это сбивало Семёна с толку, он защищался уже растерянно:

- Откуда гектар-то? Ты, наверно, школьной линейкой мерил. Всего только угол.

- Философ... Делай на совесть то, что велят, - вот что должно быть для тебя главным. И так для каждого. Как в армии, понял? Там приказы не обсуждаются, потому и порядок.

В общем, они оставались каждый при своём мнении. Зря и токовали. Потом-то Размахай находил новые доводы в свою пользу и выстраивал целую систему, но поздно.

На взгляд одного – бывший друг-приятель калечит и уродует землю; на взгляд другого – у друга-приятеля явное размягчение мозгов. Один считает: Семён-пастух ищет причины, чтоб полегче жить. Другой убежден: Витя-председатель – вредный элемент на земле, враг ее.

Эти распри между ними не влияли на репутацию Семёна: в Архиполовке своего пастуха чтили, несмотря на его прегрешения перед колхозом, о другом и не мечтали.

6.

Снегири, клесты, свиристели, синицы, оказавшись подо льдом, почему-то собирались к одному месту на водопой – там ключик пробивался из-под каменного пласта, и вода в нём густа, как свекольное сусло, а цвет имела лимонно-желтый. Она оказалась ощутимо тепла, будто из полуостывшего чайника.

Когда обнаружил Семён малую лужицу и в ней пузырившийся ключик, чёрт дернул сунуть туда палец, а потом попробовать на язык. Так рассудил: раз птицы пьют, то и ему не во вред. От водицы той у него как-то странно посвежело во рту. Грешным делом подумал: нет ли в ней спиртовых градусов? Наклонился и – была не была! – осторожно схлебнул раз и два. Жидкость не опьянила, как он ожидал, но холодок пробежал по всем жилам; холодок этот лишил тяжести его тело, прояснил голову, сразу захотелось делать что-то: или куда-то бежать, или просто смеяться. А наутро у Семёна сошла кожа на ладонях и ступнях, обнаружив молодую, зарозовели и стали блестящими ногти, ало залоснились и припухли губы, полезла дружно и густо рыжая борода.

Воодушевлённый такими переменами в себе, он понадеялся, что у него прорежутся и молодые зубы взамен выпавших, но, к сожалению, этого не произошло. Зато он теперь чувствовал необыкновенную силу и неутомимость: переколол гору дров, выдолбив в мерзлой земле погреб, который ему в общем-то не нужен, и готов был все на свете передвинуть с места на место, а Маня Осоргина, пришедшая на денек погостить, заявила, что, пожалуй, останется до четверга.

Немного озадачивало Семёна, что одна из ям на дне озерном оказалась безрыбна. Тем не менее вода в ней колыхалась, будто где-то в самой глубине ворочалась особенно большая рыбина. Он решил подстеречь ее, уселся у этой ямы, представляя себе, как вот сейчас выплывет откуда-то снизу из-под широких каменных сводов...

«Приплыла к нему рыбка, спросила... Нет, не золотая рыбка, а царевна-лягушка... приплыла и говорит: чего тебе надобно? Чего не хватает? Все исполню, только прикажи...»

Едва успел подумать так – вода заколыхалась сильно, отступила глубоко вниз, обнажая широкую каменную горловину – вот-вот выйдет из земной глубины кто-то! – и хлынула вдруг отту-

да, бурля и разливаясь во все стороны. Семён вскочил, отбежал, оглядываясь, - вода уже растекалась по дну, соединяя рыбные ямы, затопляя ложбины, крутя в воронках жухлые водоросли и мелкий песок. На том месте, где горловина, бугрился могучий родник. Пришлось поскорее выкарабкиваться на берег – и вовремя: скоро лед, подтопленный снизу водой, уже потемнел. Вот тут радость охватила путешественника: вовремя заметил прилив. А ну как это случилось бы в то время, когда он ползал между слоями льда! И не убежишь и не выломишься. Так и останешься распластанным, как лягушка, а случись к этому мороз – вмерзнешь в лёд.

Вот теперь Семён Размахаев имел хоть и неполный, но все-таки ответ на загадку: вода не уходит через дно, как сквозь решето, у нее есть парадный ход... а куда, куда?

- Будем думать, - сказал он сам себе и, будто очнувшись, огляделся: занятый озером, до сих пор не замечал перемен в природе, а теперь вот с радостью отметил, что на полях снег уже талый и солнце светило тепло – это означало, что пришла весна и пора отправляться в колхозное правление, чтоб подрядиться в пастухи.

- Не стыдно? – пробурчал председатель при появлении Семёна и услышав о цели его прихода. – Опять в пастухи! В нашей Архиполовке и стадо-то маленькое, с ним старухи управятся.

- Чего воду в ступе толочь! Давай сразу перейдем к делу. Какие старухи в пастухи пойдут?

- Да жалко тебя: квалификацию механизатора имеешь, а работу выбираешь несерьезную.

- А тебе что? Волна качает берега?

- Давай опять на трактор, а? Мы новенький на той неделе получим, так и быть, отдадим тебе.

Вишь, как ласково сказал! Но Семёна этим не купишь.

- Твоя техника и так загнала нас всех в угол. Скоро всю живность загубит, в том числе нас с тобой. Куда ни глянь – там дымят, тут коптят; с той стороны крушат да рушат, в этой – давят да глушат. Кругом обложили! На всей земле только и осталось одно наше озеро.

- Оно, Сёма, между прочим, как яловая корова: от него никакой пользы, только место занимает.

«Вот собака, а? Что он такое говорит-то?» - мгновенно взъярился Семён.

- Ладно, ладно, не сверли меня взглядом-то. Не пугай. Лучше скажи, зачем ты целый угол поля возле озера деревьями засадил? Кто тебя просил об этом? Кто тебе разрешил? Что, не хватает берёзок по берегам? Всё тебе мало? Самовольничаешь!

Ну вот, началось. Доложили, значит, ему.

Тут уместно было проявить смирение, но Рахзмахай уже не владел собой:

- По справедливости-то я должен быть на твоём месте, а ты у меня в пастухах. Я б тебя научил родину любить! Ты бы у меня покрутился! А так что – все наоборот. Это несправедливо, бесхозяйственность это.

- Ты хочешь в председатели? – заинтересовался Сверкалов, коварно улыбаясь. – А ну, расскажи, что бы ты сделал на моём месте. Какая у тебя позитивная программа? Берёзки сажать на полях? Певчих птичек разводить?

- Отдай мне озеро на моё полное попечение. И земли вокруг на километр. Вот тогда я и на трактор сяду – поля пахать, и скотину пасти – всё разом. Посмотришь: хлеба соберу втрое, молока надою тоже втрое против вашего колхозного. Такие вы хозяева.

- Ха! Дайте ему... Не справишься, ведь!

- Я найду помощников.

- А-а, работников наймёшь, значит. Вся ваша размахаяевская порода – кулацкая. Мало вас потрошили: вы так и не перевоспитались

- Порода хорошая, - глухо сказал Семён. – Работать любили, а не на завалинке сидеть. И ты на деда моего, Луку Савельича, не намекай. Его раскулачили незаслуженно, по дурости. У него рука была настоящая крестьянская: ладонь широкая, в плече отмашистая – равного ему севца не было во всей нашей округе. Вот какой он был работник. Так что послали его в пески и погубили там совершенно зря – теперь вон о кулаках во всех газетах пишут, что-де трудяги были. А когда немец на нас попёр, то Размахаяевы воевали, как работали, не в последних: отец без ноги пришёл, зато с четырьмя орденами. Ай да кулацкий сын! У тебя вон ни одного нет. И дом построил, будучи на одной-то ноге. Вот так. Мы, Размахаяевы, испокон веку землю благородили и защищали, а не разоряли Ясно тебе?

- Ладно, Сёма, это у нас давний разговор. Обидеть я тебя не хотел. Понятно, что для тебя главное не стадо и не поле, а озеро.

- Да, озеро. Я этого и не скрываю. Его сбереечь надо во что бы то ни стало. Как здоровый глаз у кривого.

- Ну, погоди, мы этот водоемчик похерим! – дразнил Сверкалов. – Мы там сапропель черпать будем. Потом заровняем, запашем и посеем клеверок. Ты там будешь коровушек пасти.

- В поджилках тонок заровнять да запахать, - отозвался Размахай, но отражение тревоги на лице своем скрыть не смог.

- Я его уже в план осушения внес, можешь в этом не сомневаться.

- А я тебе говорю: не имеешь такого права! – сразу освирипел Семён. – Оно живое существо, а ты кто такой, чтоб душить его? На это в уголовном кодексе статья есть. Я в Москву жаловаться поеду!

Витька Сверкалов засмеялся, удовлетворенный, и как уже бывало раньше, обозвал по-обидному - уникамом. Ну, у Размахая тоже были кой-какие слова на этот случай, не хуже. Так что общий счет у них можно признать равным.

Однако угроза осушения родного озера эхом продолжала звучать в Семёне. Надо было как-то успокоить себя и, может быть, отвратить Сверкалова от этого умысла. Он покосился на председателя. Но тому было уже не до него: как раз говорил по телефону с начальством и лихорадочно листал свои ведомости.

Эх, приплыла бы золотая рыбка, спросила: чего тебе нужно в этом кабинете, Сёма? А он бы ей: добавь разуму Витьке Сверкалову. Чёрт его знает, этого обормота, возьмет да и в самом деле осушит озеро! У него техники хватает, а нет – призовет какой-нибудь мелиоративный отряд, их развелось по нынешним временам много: охотятся за болотами да озерами, будто за редкой дичью. Ни поспать, ни поесть им – дайте только осушить что-нибудь, то есть выпустить воду, будто живой твари брюхо вспороть. А потом отрапортуют наверх: так, мол, и так, осушено столько-то, полагается премия и орден.

Чувствуя, как похолодели ладони, Семён решился: встал, притворил дверь председательского кабинета, чтоб не слышали из приемной, дождался конца телефонного разговора и приступил:

- Виктор Петрович, тут вот в чем дело...

Чтоб душевней было, по имени-отчеству повеличал. И стал рассказывать про то, как в середине зимы уходит из озера вода, как намерзает поэтажно лёд на нём и можно, если захо-

чешь, путешествовать лежа, потом и спуститься на самое дно, а там...

Сверкалов некоторое время был серьезен, вернее, казался серьезным, потом багровел постепенно и, наконец, не дослушав, захохотал. Семён остановился, глядя на радостное лицо друга... бывшего, конечно, друга. Витька Сверкалов смеялся по-ребячьи, совсем несолидно, даже слезки выступили.

Чего они все такие? Хоть бы и Маня тоже...

- Да ты погоди, глупой, - сказал ему Семён. – Выслушай сначала, а потом уж смейся или плачь.

Но Сверкалов от его серьезности залился еще пуще.

- А рыба, Сень? – спрашивал сквозь смех. – Она где?

- Рыба в ямах, - простодушно признался Размахай. – Можно подойти и погладить, поиграть.

- И пожарить. Или она уже жареная? О-ха-ха!

До чего ж румяная рожа у председателя! Просто даже приятно смотреть. Небось, теперь ватрухи ест каждый день, не то, что бывалыча.

- На еду я беру самого большого сома... Одного за всю зиму...

- Пуда на два, да?

- Не вешал, но не меньше.

- Помнишь частушку такую:

На охоту мы ходили

И убили воробья,

Всю неделю мясо ели

Ии осталось... до хрена.

«Ну что, многого добился?» – спросил Семён у самого себя, спросил с досадой и раскаянием: не надо было откровенничать.

Это от довольства председательской жизнью такой полнокровный смех у Сверкалова: не подленькое «хи-хи» и не ядовитое «хе-хе», заслоненное ладонью, а открытое, во весь рот – «ха-ха-ха». Большой человек Сверкалов; как-никак дела каждый день вершит важные: может реку запрудить или, наоборот, новое русло ей прокопать; может северных оленей развести вместо коров или посадить пальмы... если, конечно, будет такая команда от начальства. Может и озеро осушить, если ему заблагорассудится. За то его и держат. Вместо головы у Витьки —вычислительная машинка: чик-чик, щелк-щелк. Никаких сомнений, никаких колебаний – не за то деньги платят! Огорчения бывают, но удовольствий все-таки больше. И жена его любит, а эт-то такая женщина! Все отдай – и мало.

Нет, никогда он не поверит, что можно путешествовать по озеру между слоями льда или просто по дну; не поверит, что на дне есть родничок с животворной водой, что в животе у человека может жить лягушка... Зато готов точно подсчитать, сколько соберет колосовых или капусты с той площади, что занимает озеро. Собрать, конечно, не соберет, а вот подсчитать может.

- Ох, прости, Семёна, - Сверкалов вытирал выступившие слезы. – Извини... Ты и в школьные-то годы был у нас враль хороший. Бывало, такую картину мне нарисуешь, что у меня уши лопухами. Но я думал, ты теперь порастерял это качество. Оказывается, нет. Спасибо, позабавил... Ну, ты и уникам у нас!

Душевная часть беседы на этом закончилась.

«Уговорами толку не добиться, - сообразил Семён. – Хоть Сторожок, хоть Сверкалов – этот народ уважает только силу. Значит, надо действовать силой».

Председатель уже посерьезнел.

- Так что, как насчет трактора, Семён? – спросил он деловым скучным тоном. – Мы на той неделе получаем новенький. Знаешь, я мог бы за тебя походатайствовать, уговорить ребят, чтоб тебе уступили новый. А?

Семён послал председателя «к едреной бабушке» и, когда тот стал «поднимать хвост», выразился и покруче.

7.

И в этот раз, как и в прошлые годы, для Семёна Размахаяева в председательском кабинете все закончилось так, как он хотел. И возвращался он в Архиполовку бодро. Кстате сказать, не всю дорогу пришлось идти пешком: оказывается, совсем недавно стал ходить в Вяхирево рейсовый автобус. На нем-то Семён доехал до развилки, где, смотри-ка, уже поставлен столбик с указателем «Архиполовка – 1 км». Как тут не обрадоваться: стоит теперь только выйти сюда, на новую дорогу, – автобус обязан остановиться, довезет тебя до райцентра, а там поезжай хоть в Москву, хоть куда подальше.

В назначенный срок пестрое стадо в его сопровождении вышло со скотного двора навстречу вставшему солнцу, ловя чуткими ушами дальнее горловое пенье ручья, жадно обшаривая глазами чуть-чуть зазеленевшие луговины и раздувая ноздри; за день оно совершит, словно круг почета, очередной круг жизни по берегу озера...

Пастух от скотного двора завернул в деревню, чтоб прихватить и частных коров, и на противном ему конце был, как и в прежние времена, огорчен: оттого, что снег стоял и вешняя вода сошла, дом Сторожка и окружающий его пустырь были особенно неприглядны: вся бензинно-мазутная пакость теперь обнажилась и прямо-таки оскорбляла глаз.

Потом зарастут крапивой да лопухами все эти ожоги на луговине, а пока...

«Надо измерить шагами расстояние от усадьбы Холеры до озера. Неужели вешние воды скатываются туда? А куда же еще! Тогда надо рыть канаву и сооружать отстойник...»

Пустырь вокруг вражьего дома напоминал площадку для ремонта техники или пустой машинный двор, стойбище железных уродин с наполненными бензином потрохами; они уползли куда-то, эти уродины, и осталась только одна, с огромными грязными колесами, с черными потёками на боках – на ней механизатор Сторожков накануне вечером приехал на ночлег. Сейчас заведет мотор, выпустит облако синего чаду и отправится уродовать землю в другое место.

«Как его, собаку, вразумить?»

- Эй, хозяин! – крикнул Семён, и Сторожок выглянул в окно. – Твою территорию надо обваловать со всех сторон, как Чернобыльскую атомную станцию, чтоб зараженная вода не стекала в озеро. И очистные сооружения построить.

Холера в карман за словом не полез:

- А тебя надо обложить со всех сторон навозом – очень уж ты всякую органику любишь.

«Убедить его можно только кулаком по шее или дрыном вдоль спины, - подумал Семён.

- В бетонный саркофаг бы тебя, как вредного гада...

Валера ему в ответ матерно.

- Слушай, Валер, - это Размахай сменил гнев на милость, - ну, в самом деле, нельзя же так. Неужели тебе самому не противно? Оглянись-ка вокруг себя.

- Да пошел ты!.. – и Сторожок захлопнул окошко.

Тут со двора вышла Сестричка, поглядела на пастуха обиженно, словно она тут в тюрьме сидела и пастух в том виноват. Прекрасная рыжая шерсть красавицы-коровы испачкана была тут и там чем-то черным.

Ну, как тут вытерпеть! Самое бы лучшее – это вызвать сейчас Сторожка из дому да и отметить как следует, чтоб век помнил! Семён готов был так и сделать, уже пробормотал себе под нос: «Вот собака! Я тебе сейчас...», но вслед за коровой вы-

шел с хворостинкой Володька, улыбающийся Семёну радостно, – давно не виделись – и сообщил:

- А мне уже пять лет. Сегодня у меня день рождения.

- Да ну! – У Размахая сразу потеплело в груди. – Это, парень, очень круглый юбилей – орден тебе пора давать.

- Володька, а ну иди домой! – позвал отец, выходя на крыльцо. – С Размахаем толковать – только мозги засорять. Я тебе карбюратор подарю от космического двигателя, пойдем со мной.

Семён отвернулся и пошел поскорее прочь, чтоб не сорваться в присутствии парнишки. Выйдя за деревню, сел на берегу озера и предался невеселым размышлениям. Мысль «как его, собаку, вразумить?» не покидала его. Ясно, что к добру у них дело не пойдет, но какие меры воздействия принимать по отношению к Сторожку, Размахай не знал.

После некоторого раздумья, словно вспомнив что-то, оживился, принес из дому заступ и принялся за работу; для успокоения нервов лучшее лекарство – сажать молодые тополя, березы, липы и дубки, черемухи и рябинки. Молодняку-то много разрослось не у места – скучились на околице, да возле скотного двора, да на месте сгоревшей старой кузницы, да еще на Веселой Горке, где некогда церковь стояла. Семён выкапывал оттуда эту молодежь, растущую в тесноте и взаимной обиде, пересаживал на берег, туда, где он оголился: озеро, как великая драгоценность, должно иметь зеленую оправу. Это была не просто весенняя посадка деревьев, а протест Размахая Семёна против безобразий, чинимых Холерой Сторожком, да и не им одним – мало ли их, холер, на земле!

Сюда к нему прибежал Володька, и они вдвоем - один копал ямы или выкапывал деревца, а другой придерживал переселенцев за их тонкие стволы – очень дружно работали. А если в день рождения человек посадит хоть одно дерево, это очень хороший человек!

- Жили-были пастух Семён и парнишка Володька на берегу синего-синего моря, - приговаривал старший, орудуя заступом. - Пастух пас свое стадо, а Володька играл возле дома. И задумали они посадить вокруг своего маленького моря большой-большой лес, чтоб жили в нем певчие птицы и добрые звери.

У Володьки сам собой открылся рот, а глаза... глаза становились такими же внимательными и серьезными, какими они бывают у самых умных лягушек.

- Вот в первый раз Семён выгнал свое стадо, и пока коровы щипали травку, стали они с Володькой сажать березки – посадили целую рощу.

- Во второй день дядь Семён выгнал свое стадо, - подсказывал Володька, - и мы с ним посадили...

- ... перелесочек из лип, дубков и кленов. А в третий раз – целый сосновый бор.

Тут парнишку позвали строгими голосами мать и бабушка, чтоб шёл домой, но он хоть оглянулся, однако не послушался, не побежал к ним.

- Росли-подрастали деревья и однажды зацвели, - продолжал свою сказку Семён и любовно бросал заступом землю на корни тополька, который держал Володька, - зацвели совсем как яблони.

- Тополя не цветут, только липы, - сообщим помощничек.

- И стали на липах и берёзах вызревать румяные яблочки.

- Разве так бывает? – засомневался Володька.

- Деревья очень любят, когда за ними ухаживают. И если очень захотят отблагодарить нас с тобой, на них обязательно вырастут не только яблоки, но и арбузы.

- Володька! – гаркнул отец-Сторожок.

- Не пойду, - отвечал ему сын.

- Иди, - посоветовал ему Семён. – А то тебе влетит.

А парнишка только головой помотал: нет, он не пойдёт.

- - Почему?

- А они тебя ругать будут.

- Иди сейчас же ко мне, предатель! – закричал рассвирепевший Сторожок.

Пришлось парнишке покориться – Семён лишился помощника. Но ничего, дело всё равно спорилось, и в тот день, и на другой тоже.

Войдя во вкус, он за неделю посадил деревьев триста, не меньше, - роща заняла довольно широкую полосу вдоль берега, у самой воды, куда коровам спускаться совсем необязательно. Размахая было не унять, и он продолжал работу с тем же упорством и пылом.

Молоком и мёдом кто-то брызгал на землю: уже зацвела черёмуха и распускались одуванчики. Наступила пора лягушечьих свадеб, любимая его пора, и он работал под неумолчное лягушечье ворчание.

Лягушек Семён любил. Случайности в том, что приснилось, будто одна из них живёт в нём самом, не было – это всего

лишь следствие той дружбы, что уже много лет связывала его с этим лупоглазым народцем

Он их любил за лапки-ноги, лапки-руки, так похожие на человеческие, за кроткие глаза, безобидный миролюбивый нрав, да и голосок у них добродушный. В сущности, это ведь единственные существа на свете, от которых человеку никакого зла; птицы, бывает, поклюют посевы или, скажем, ягоды в огороде; кабаны потравят поля, лиса заберется в курятник, зайцы погрызут яблони, а волк утащит овцу; мухи и комары обидят кого хочешь; а лягушечки добросердечны и никому не мешают.

Летом, шагая за стадом, Семён частенько подбирал их с травы и клал себе в карман. А то и сами они туда запрыгивали без спроса, пока он сидел на берегу, размышляя.

Жена его, когда жила с ним, за то и невзлюбила мужа, что находила лягушек в самых неподходящих местах: в кармане пиджака, в резиновых сапогах, в кринке с молоком, в ведре с водой – она знала, что это всё Семёновы причуды. Лягушки вызывали у нее только отвращение, и ничего более.

Ну, что о ней вспоминать! Уехала – и хорошо.

Итак, Семён подкармливал своих друзей лапчатых крошками от своего завтрака и живностью, вроде комаров и дождевых червей, сажал на плечи вместо погон, учил говорить по-человечески. В общем, нянчился с ними, так что они его тоже любили, Стоило ему подойти к озеру – тотчас из тины, из осоки высывались забавные мордочки и смотрели на него, жестикулируя лапками, обменивались впечатлениями; но если появлялся рядом с ним кто-то ещё, так и попрыгают в воду с берега, с осоки, с листьев калужниц и кувшинок – на дно. Видно, он им был свой человек, а он в свою очередь считал их за близких своих людей.

Среди них были удивительные племена. Вот, к примеру, одно жило в старой, давно вырубленной дубраве. От той дубравы остались лишь пни, каждый в кухонный стол, не меньше, а вокруг молодой дубнячок в рост человека. И вот на темя того или иного пня обычно при мелком тёплом дождичке выбирались лягухи большие, величиной с кулак, и сидели целыми семействами, блаженствовали. У старших имелось о карману в подзобке, из которого, как птенцы из ласточкиного гнезда, выглядывали лягушата и хлипкими лапками тянулись к губастому рту родителя, доставали пойманных им мошек или мелких червей, тем и кормились. А лягушата покрупнее, постарше сидели степенно рядом и случись дождичек, гимнастику делали: лапку вытянут, уберут, другую вытянут...

Дубравницы умели свистеть, только свист у них получался толстый и короткий, как через патронную гильзу. Они вообще-то некрасивы из-за мешковатости своей да еще из-за странного геометрического рисунка на спинах – черные ломкие линии будто вычерчены с помощью туши и линейки. Рисунок этот никак не радовал, он какой-то неживой, но вот глаза у них хороши: грустные, голубовато-рыжие, под тонкими складочками-бровями.

Совсем иное племя обитало в том месте, где впадал в озеро Панютин ручей. Эти лягушечки махонькие, с ноготок мизинца, паслись на деревьях – там осинник. Они очень ловко прыгали с листа на лист и как бы приклеивались: прыгнут, мгновенно приклеются – и листик тотчас перевернется светлой стороной вверх; прыгнут – и опять перевернутся, спрячутся под зонтиком-листом от солнца. Подойдет Семён к осинке, а на ней сидят-покачиваются семейства «ноготков», маленьких, будто лягушата. Они двух мастей: красные, как божьи коровки, – это, должно быть, барышни, потому как очень яркие, красивые; и зеленые с черными крапинками по хребту – это кавалеры. Впрочем, может, и наоборот, кто ж их различит!

Еще одно необычное поселение заняло Рябухину заводь – эти величиной со спичечный коробок и носили замечательные реснички: на веках и на лапках, там и тут одинаковые. Некоторые были с хвостами, но таких мало, остальные без хвостов – должно быть, он у них отваливался, как у ящериц. Эти лягушки имели ужасно хитроватый вид, хотя в общем-то все, как одна, простодушные простачки. Вся ихняя хитрость – больше других любили овсяные хлопья, размоченные в сладкой воде. Опустит Семён ладонь с лакомством к самой осоке – хитрецы и лезут, отпихивая локтями друг дружку. По вечерам они устраивали концерты: высывались все из воды, одна поет «брр-кок, брр-кок» – другие слушали. Потом она нырнет в воду, и тотчас запевала следующая: «брр-кок, брр-кок». Сконфузится и тоже – нырнет на дно.

Вот теперь как раз эти концерты и начались. Заслушаешься! Семён сажал деревца, слушал лягушек, и лицо у него в эти минуты имело выражение довольно глупое – он был счастлив.

Вообще-то пастьба у него в этот год началась хорошо. Если, конечно, не считать распри со Сторожком. Самое главное, что радовало в стаде, – подрос бык Митя. Прошлым летом был он так себе, грустный бычок, а теперь настоящий хозяин, грозный и взыскательный на все сто процентов. Рога – ухватом на трехведерный чугунок, в глазах-яблоках этакая блажь, гневная

муть... голос подаст – мороз по коже. На само-то деле добродушен, как теленок, но об этом известно только пастуху. Все прочие – и доярки, и деревенские старушки – убеждены: зазеваешься – задавит или пырнет рогом в бок.

А Митя – свой в доску, вырос на глазах Семёна, и взаимопонимание у них было налажено еще в прошлом году. Теперь есть с кем потолковать, посоветоваться; и насчет коров и вообще. Семён Мите уже объяснил подробно, к чему тот призван, в чем его обязанности. Митрий долго думал, но суть разъяснений понял и на второй или третий день пастьбы успешно сдал экзамены на сообразительность.

- Вера Антоновна, - сказал Семён своей соседке вечером, когда пригнал стадо, - запиши нынешнее число, твоя Малинка обгулялась.

Значит, не следует сомневаться, корова будет не ялова, и даже можно подсчитать, когда теленочек появится.

Старушка пастуху на радостях стопарик, хотя он-то тут при чем! Это все Митя. Впрочем, как сказать... Кто вдохновитель и организатор?

За день стадо обходило озеро кругом, и следом выстраивалась череда березок, лип, рябин, черемух, тополей. Они выпускали нежные, младенческие листочки, а те росли и матерели, трепыхались на ветру, радуя пастуха.

«Да я тут целые леса теперь посажу!.. – воодушевленно мечтал Семён. – И ни одна собака не подступится к моему озеру».

Коровы поглядывали с интересом: их верховный правитель таскал комлистые деревца, копал ямы, выкладывал их на возом, сажал, поливал озерной водой... Что с ним?

Отдыхать пастух садился непременно на берегу, размышляя, и ему всякий раз вспоминалось... вернее, грезилось что-нибудь, как воспоминание или сон, или как только что случившееся происшествие.

У него на глазах озеро затягивало прозрачным ледком, на котором распускались диковинные цветы, папоротники, пальмы... легкая снежная позёмка мела – это колючий ветерок чистил лёд, будто веником... и отступала вода вниз, в каменную грудь земли, а морозец крепчал, потому невидимо намерзал под верхним слоем нижний слой льда, образуя плоскую полость от берега до берега... Толстые сосули подпирали верхний слой, пар от Семёнова дыхания оседал невесомыми кристалликами, когда он полз, влекомый непонятным азартом...

Ха! На него, путешествующего, набрела баба Вера, остановилась, вскрикнула и ударилась бежать. Да неладом – шлёпнулась, вскочила, опять побежала, голося. Он засмеялся, и от смеха его отламывались и звенели тоненько ледяные ломкие кристаллы.

Под вечер она ему же, соседу, расскажет, как пошла на островок за вереском для бани и увидела подо льдом утопленника, к себе манил.

Смеясь, он перевернулся на спину, и тут набежала на него лиса, остановилась – он явственно видел красные, как цветы с крупными лепестками, лапы ее; патрикеевна покружилась-покружилась над ним, метя рыжим хвостом, да и ткнулась носом к его носу. Семён погрозил ей кулаком, она подпрыгнула, будто мышкуя, и исчезла.

И уж совсем ни к чему случилось: наехала лошадь с дровнями – это Осип Кострикин отправился краем озера за сухостоем; приспичило ему, вишь, не запаса вовемя. Конское подкованное копыто ступило прямо на грудь Семёну, и он не на шутку перепугался: а ну как проломится лёд под такой-то тяжестью! Ковбой, слышно, коротко всхрапнул и заржал, стук подков сдвоился: поскакал, значит, галопом. Интересно, видел Осип что-нибудь или нет? Если нет, Ковбой ему не скажет. А если и видел человеческую фигуру подо льдом, то наверняка не поверил собственным глазам...

Семён, сидевший на берегу, следил рассеянным, чуть притуманенным взором, как спустилась с берега корова, потянула ноздрями воздух, как ударила копытом по льду, будто лошадка, и стала пить из образовавшейся полыньи. Семён не удивился этому ничуть, зато корова посмотрела на него удивлённо и вернулась к стаду.

Он же оглянулся на деревню и смотрел долго и сострадательно: жалел людей – они так заняты каждодневной суетой и не знают, не ведают, что если долго смотреть на озеро, если пожелаешь, его даже в самый жаркий день затянет льдом, а вода уйдёт, оставив ледяную крышу, и под нею обнажатся подводные холмы, откроются глазам сумеречные пространства, так похожие на залы огромного дворца, где в малых бассейнах плещутся краснопёрые рыбы... и катаются по яро-песчаным полам красные яблочки-снегири.

Семён прибирался в нише под берегом и увидел вдруг, как сверху, из окошка в земле, спустилось на цепи знакомое ведро, упало на промёрзлый грунт, гроыхая, подёргалось. Он догадался: это Маня пытается зачерпнуть воды, не зная, что коло-

дец-то сухой. Размахай выхватил из ближней ямы здоровенного леща и ввороти его под ведерную дужку. Маня стала поднимать, потом вдруг вскрикнула – и ведро с лещём брякнулось обратно.

Семён хохотал, сидя и на дне... и на берегу озера. Не хочет баба рыбы! В кои-то веки поймала леща в колодце ведром, ей бы радоваться, а она перепугалась...

Радость его была устойчивой, и, казалось, ничто не может смутить ее.

8.

Но вот при ласковой-то погодке наступил субботний день, а с ним пришла нежданная беда: на новенькой асфальтовой дороге – а это можно было видеть издали - вдруг стали появляться и притормаживать то одна легковушечка, то другая; постояв в нерешительности, они осторожно съезжали на проселок, ведущий в сторону Архиполовки, и этак совершенно подло, крадучись, подползали к перелеску, высматривали, что, мол, там впереди. Перелесок скрывал от них озеро, но они, собаки, словно чуюли его по запаху. Вот одна завияляла между деревьями, другая... Семён озадачился, оставив работу по пересадке березок и лип, и стоял, разинув рот.

Когда первые машины высунулись на берег и из них вышли веселые туристы, он почувствовал, как сердце его уронило себя в пустоту, что всегда бывало в отчаянные минуты жизни. Далее Семён Размахаев только растерянно следил, как прибывающие занимали самые выгодные, самые живописные позиции на берегу, и как то тут, то там возникала палатка, а то и две, начинал дымить костер... Семён чувствовал свое полное бессилие, он не мог предотвратить все это, как не мог остановить надвигающуюся тучу. А что ничего хорошего ждать не приходилось от нашествия туристов, было для него очевидным. Он вспомнил свое ликование по поводу построенной дороги, по которой можно уехать хоть на край света, и решил так: скорая радость – не от большого ума.

Размахаев Семён Степанович никогда не мог понять зачем, зачем продают в личное пользование автомашины, а ещё и лодочные моторы. То и другое приносит только вред человеческому обществу и природе: одни пакостят на земле, другие на воде. Вон Сверкалов ездит на легковушке-«каблукке» – это еще туда-сюда, терпеть можно: он председатель колхоза, следова-

тельно, ему необходимо. Да и то: хватило бы ему велосипеда. А остальным на что? Только для баловства. И это ради баловства понастроили столько автомобильных заводов и наделали столько машин?! И только ради баловства жрут столько бензину, отравляя атмосферу?! Это безрассудно. Это преступление! Если еще придумают персональные самолеты и будут летать на них за грибами и на рыбалку – а ведь к тому идет! – тогда все, гроб, ложись и помирай.

Вечером по берегам озера загорелись костры, какие-то фигуры устроили вокруг них людоедские пляски, слышался стук топоров, песенные вопли на разных языках мира – словно объединенная рать татаро-монголов, печенегов и половцев въяве подступила к его озеру и начала планомерно осаду, предавая окрестности огню и мечу. Слышно было, как с треском повалили дерево; как вколачивают в заливе сваи – сооружают мосточки, чтоб удобней было удить; как поливают свои легковухи озерной водой, и можно представить себе, как эта грязная вода стекает обратно в озеро.

Семён сидел на берегу перед своим домом, который тоже пришибленно созерцал нашествие: в окнах Размахаяева жилища взблескивали, как слезки, отсветы костров. Всю ночь оба они – дом и его хозяин – прислушивались к воровскому плеску, к приглушенным голосам людей, явно занятых браконьерским промыслом, и зябко поеживались.

Эта ночь была самой худшей в жизни Семёна. После нее он пал духом и даже похудел.

На другой день, когда туристская рать откатилась и растаяла, Семён обошел озеро, прикидывая размеры опустошения: остались кострища, пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, смятые обрывки бумаги... Там вырублен куст, тут выволокли на берег тину и осоку, в одном месте зачем-то вырыли яму, в другом вбили колья, кое-где попросту выдернули с корнями или сломали недавно посаженные деревца.

В том месте, где Векшина протока вытекает из озера, бобры еще в прошлом году подгрызли большую ветлу, она упала с берега в воду; Семён никогда не тревожил место, любимое бобрами, наведывался сюда редко и коров не подпускал тут к водопою. Теперь легко было представить себе, что за люди приезжали, если они здесь с упавшего дерева удили рыбу, тут же причаливала ихняя лодка, осока и тростник были примяты.

Семён перебрался через протоку, прошел чуть дальше, и ухо его уловило вдруг встревоженное, одиночное «кря». Он за-

мер, подошел ближе к воде и не так уж далеко от берега в густой осоке за кустами разглядел острым своим глазом сидящую на гнезде утку.

Надо сказать, что утки и раньше здесь селились, до тех пор, пока два года назад Валера Сторожков не побаловался тут с ружьишкой. Да и не один, а вдвоем со своим приятелем, участковым милиционером Юрой Сбитневым. Побаловались они в законное время, на законных основаниях, в разрешенный для утиной охоты срок, но тогда же Размахай имел с ними обоими разговор, который едва не закончился драматически, то есть дракой. С тех пор облюбованное утками место пустовало. А теперь вот Семён чуть не прослезился на радостях: вернулись утки на озеро! Однако же – что это? – неподалеку от утинового гнездовья вчера кто-то вырубал ивовое удилище или рогулину для костра.

- Вот собака! – пробормотал Семён.

Напуганная вчерашними событиями утка была встревожена настолько, что вот даже выдала себя нечаянным «кря», когда пастух шел мимо. Сохранила ли она кладку вчера?

- Не бойсь, не бойсь! – сказал ей Семён вполголоса. – Свои люди.

Она не выдержала и взлетела.

- Ах ты, бедолага! – пожалел Семён и, любопытствуя, издали заглянул в гнездо – насчитал в нём двенадцать крупных зеленоватых яиц и поспешил уйти.

«Колючей проволоки, что ли, достать? – размышлял он. – Так ведь всё озеро не опутаешь. Что ж делать-то?»

Ясно было одно: надо сопротивляться. Нельзя так, чтоб чужие люди приезжали, пакостили озеро, а его хозяин и хранитель молча, смиренно сносил такое издевательство.

- Своих подлецов хватает, - бормотал он, - а тут ещё варяги...

И тем, и другим надо давать жесткий отпор.

- Будем держать круговую оборону, - сказал Семён кошке Барыне, придя домой. – Придётся стоять насмерть, ни шагу назад. И если понадобится, то не пожалеем наших жизней, верно?

Приняв такое решение, он повеселел, и дом тоже повеселел. Вот только Барыня смотрела недоверчиво.

В течение последовавшей затем недели он предпринял некоторые охранительные меры. Прежде всего перекопал глубокими канавами проселок, ведущий к озеру, а у съезда с асфальтовой дороги на грунтовую соорудил шлагбаум из не

оструганных жердей. Хотел даже покрасить поперечину черно-белыми полосами, как на железнодорожном переезде, но краски не нашлось.

У этого шлагбаума, кстати сказать, застиг его персональный «каблук» Витьки Сверкалова. Председатель сразу уразумел, что к чему и кто виновник.

- Не поел ли ты чего-нибудь такого, а? – ядовито поинтересовался он. – Не вступили ли тебе в голову продукты полураспада пищевых веществ? Соображаешь хоть, что творишь?

- Я объявляю район озера заповедной зоной, - сказал Семён твёрдо, почти торжественно.

Сверкалов с минуту, не меньше, изучал его взглядом, потом приступил:

- А кто ты такой? Кто тебя уполномочил? Чьи интересы ты представляешь? И чью волю выражаешь? Известно ли тебе, что бывает за своеволие и самоуправство в социалистическом государстве, где нет частной собственности на землю, воду и воздух?

Вопросов у него оказалось много, на все и не ответишь. От этого Семён стал сердиться и в повышенных тонах объяснил Сверкалову, что человечество правильно изобрело паровоз; самолеты тоже, туда-сюда, дело вроде нужное – правда, надо еще присмотреться повнимательнее и разобраться; ну и космические корабли, судить не будем, не нашего ума дело, они, говорят, погоду предсказывают; а вот что легковушки и лодочные моторы есть дурацкие выдумки – это и ежу понятно.

- Ты потому так говоришь, что у тебя нет ни того, ни другого.

Сверкалов, дразня, показал раздвоенный, как у змеи, язык.

- И не будет! – пылко отвечал Размахаяев. – Не потому, что денег нет...

- Именно потому.

- Не из-за денег, а из-за принципа.

- При чем тут принципы, когда ты просто завидуешь! Люди приехали отдохнуть, они заслужили этот отдых самоотверженным трудом, а ты им препятствуешь. Ты завистник! Тебя бесит, что они, вишь ли, рыбку ловят, купаются, а ты при стаде, как привязанный. Разве не так?

Вот этих дурацких объяснений Размахай не мог выносить спокойно и готов был хоть врукопашную.

- Ладно, ладно, не кипятись, - отступил немного Сверкалов. – Пусть не из-за зависти, но все-таки.

- Виктор Петрович, с ними надо бороться всеми доступными средствами, - убеждал Семён. – Иначе они нас задушат. Нас – это, значит, всех людей, а «они» – это, значит, автомобили и прочие механизмы. И дело не только в том, что у них выхлопные газы, нет! Машины заставляют себе служить, люди рядом с ними перерождаются, становятся рабами.. Понимаешь?

Председатель взирал на своего бывшего школьного друга весьма озадаченно: откуда такая ненависть, такая страсть! И с аргументами Размахая спорить как?

- Но ты хоть уважай Уголовный-то Кодекс!

- Я уважаю, - заверил его пастух. – А иначе крестил бы всех этих «жигулят» и «москвичат» оглоблей вдоль и поперек.

- И трактора?

- И трактора тоже.

- А как землю пахать?

- На лошадках.

Вид у Семёна Размахая был столь решителен, что ясно как день: колеса повыдергает, фары выбьет, радиаторы проломит – и не охнет!

- Не-ет, - Сверкалов мотал головой, - я не понимаю: откуда в тебе такая ненависть ко всему передовому и прогрессивному?

- Чего тут не понять! Сам посуди: стадо пройдет – на этом месте потом цветы цветут; а твоя техника след оставит – как по живому телу ржавой щеткой или головешкой горячей.

- Ну, не всегда так, Сёма.

- А что твой Сторожок творит у нас в Архиполовке? Вокруг деревни на полях, а? По лугу едет – обязательно надо дерновины дыбом всколготить. Мимо дерева едет – обязательно надо задеть, если не повалить, то кору содрать. В лес за дровами отправится – молодые сосенки да ёлочки затопчет гусеницами. Это – человек?

- Сторожков – передовой механизатор, не тебе чета. Технику любит, работает от зари до зари, безотказен...

- А ты такой же передовой председатель колхоза, так что вы – два сапога, и оба на одну ногу. Нечего с тобой и толковать.

Далее последовало у них краткое, но напористое объяснение, после чего Сверкалов загородку, которая вроде шлагбаума, повалил и поперечину, поднатужившись, сломал, на что услышал: сколько он, Витька, будет ломать, столько Размахаяев Семён Степаныч будет делать заново. Каждому, мол, свое: один создает – другой разрушает, один строит – другой ломает.

Председатель слегка опешил, послал пастуха Размахаева к стаду, а тот в свою очередь послал его, Сверкалова, еще дальше. На том и расстались, враждебно горя глазами.

Председатель, уезжая, пообещал:

- Не-ет, я твое озеро осушу! Вот посмотришь, мелиораторы проруют канаву по руслу Векшиной протоки, утробу ему выпустят... и заровняем, и посеем клеверок, и устроим загон пастбищный для скота. А тебя, голубчика, пересадим на трактор.

Вот собака! Недаром, недаром стал сниться Размахаю один и тот же сон: будто лежит он – в изголовье берег, а озеро ему вместо живота. И вот пересохло оно, средоточие жизненных сил, до того, что брюшина прилипла к позвоночнику – стало сплошное впалое место, и одна-единственная лягушка кричит в нем жалобно, надрывается.

Жуткий сон, вещий сон. Только бы он не сбылся!

В тот же день Семён восстановил загородку, но уже в другом качестве: столбы приволок более толстые, вкопал их в землю глубже, а поперечиной стала служить не жердь, а бревно, которое прибил намертво железными скобами. Такое поди-ка, сломай! Закончив с этим делом, возле перелеска поставил, страховки ради, дорожный указатель «Объезд» – это для тех, что все-таки как-то одолеют заградительное сооружение из бревен: широкая, издалека видная стрела указывала на травянистый проселок, который шел под уклон и в кустах терялся. Таким образом Размахай направил поток легковушек в болото; при этом тешил себя отрадными картинами того, как медленно и неотвратимо погружаются в трясину столь совершенные создания науки и техники; даже отчаянные вопли тонущих туристов-кочевников не умилировали Семёна.

- Я объявляю здесь заповедник! – сказал он этим несчастным, и те, оставив в болоте свои машины и закаявшись впредь шастать там, куда их никто не приглашал, удалялись теперь пешим порядком через заросли таволги да багульника к асфальтовой дороге.

- Скажите всем: здесь заповедник и заказник, - напутствовал их Семён. – Запретная зона! Вы слышите?

Чем отличается заповедник от заказника, он не знал, но так полагал, что одно должно дополнять другое, чтобы сделать его запрет нерушимым.

Следующей субботы, дня им проклятого, он ждал, как начала битвы. Был сосредоточен, серьезен, копил силы. Он знал

теперь чувство полководца, готового к набегу с дикого поля: сторожа выставлена, главные силы во всеоружии бодрствуют, сердце полно веры в победный исход. И главная мысль бодрит: «Наше дело правое... кто с мечом к нам придет...»

Но как раз накануне выходных дней разразился дождь с сильным ветром, грунтовые дороги развезло – нечего и думать, что кто-то доберется до озера! Семён понял, что получил отсрочку, может еще раз продумать систему обороны и укрепить ее.

В середине недели погода немного разведрилась, но к выходным – вот удача! – опять опшел дождь, правда, небольшой.

Собственно, подступов к озеру было два: во-первых, прямая дорога от Вяхирева – но там хилый мосток через Панютин ручей, трактора ходят вброд, а на легковушке не одолеть и в хорошую погоду; во-вторых – от новой асфальтовой напрямик через перелесок. Со всех прочих сторон – и леса, и болота, и холмы да буераки. Край земли, чего говорить!

Значит, если перекрыть надежно перелесок, озеро можно спасти. Вот тут и надо обдумать все возможные варианты обороны.

Лучше всего заминировать. Но не разрешат, да и мин нет.

Хорошо бы наставить «ежей», какими в войну оборонялись от танков. Но нужно рельсовое или швеллерное железо, а его у Семёна не было.

Можно вырыть траншеи, насыпать поперечный вал, поставить частокол из бревен, наворотить выкорчеванных пней – вот это ему по силам, но работы много. На технику надежды нет... в том смысле, что не даст Сверкалов для такой цели.

И тут осенило:

«А-а! Вот что: я засажу этот проселок деревьями! Прямо посреди дороги – тополя, березы, липы. Никто не посмеет выдирать или ломать их – это преступление. А за посадку деревьев наказания не полагается – такой статьи нет в уголовном законе».

Мысль эта показалась Семёну спасительной, и он в эту ночь спал счастливо.

Снилось ему, что опять он путешествует по озёрному дну и набрел вдруг на какое-то кольцо, вделанное в камень. Долго стоял перед ним Семён в недоумении: не кольцо даже, что-то вроде петли, и обросло ракушками – не разобрать, из чего сделано. Неужели железное? Камень, в который вделана петля-кольцо, похож вроде бы на крышку четырехугольную, как у сундука. А есть ли под крышкой каменный сундук – не разобрать.

Что, если ее ломиком поддеть, а? Что там? Тайник или подземный ход? Вдруг откроется что-нибудь этакое... золото в виде кирпичей с печатями, например.

Попробовал приподнять камень, ухватясь за петлю, - нет уж, где там! И не шелохнулся. Трактор нужен или хотя бы лебёдка. Без техники не обойтись.

«Задача не в том, как поднять крышку, - сообразил он, проснувшись утром, - а в том, куда потом девать золотые кирпичи. Сразу сдать государству – неинтересно. И понаедут милиционеры с водолазами, вытопчут всё, выпотрошат, выгребут. Станет святое место проходным двором».

В общем, получалось некрасиво, если предположить, что там золото. А другого ничего не придумывалось. Дурацкий сон!

Но он приснился и в следующую ночь, потому Семён на всякий случай привязал к уродине-петле поплавков на шнуре: чтоб летом можно было отыскать, если подъехать, к примеру, на плотике. А то кто его знает: вдруг вода перестанет уходить из озера! Ведь раньше она не уходила, когда ещё в школе учились с Витькой Сверкаловым: ловили рыбу на мормышку всю зиму, от ледостава до того времени, когда можно покататься на льдинах в весеннее половодье.

Так чтоб не пропадала находка, надо ее обозначить. Теперь-то не потеряется, всегда можно поднять. Например, использовать для этой цели пять-шесть автомобильных камер... привязать из пустыми к кольцу ещё зимой, а летом надувать через шланг... всплывёт сундучок, как миленький!

«В общем, можно считать, что это у меня в кармане, - проснувшись, решил Семён. – Не тушуйся, товарищ Сверкалов, сиди и не возникай. Жди, когда позовут. Понял? Ты себе персональную пенсию заслужишь, а я уж как-нибудь...»

В следующую ночь он опять шастал по озёрному дну и увидел ту самую лису, что столкнулась с ним носом к носу через лёд. Он узнал ее, да и она его узнала! Лисица у него на виду очень ловко выудила рыбину из ямы и уволокла, оглядываясь на подходившего Семёна: словно рыжий огонь, легко скользя, прополз по обрыву и исчез в голубом льду.

Пошёл Семён дальше и - возмутился, разозлился: показалось, что какая-то широкозадая баба в шубе то ли полощет бельё, то ли черпает рыбу из ямы. Баба обернулась на его шаги, рывкнула и побежала в сторону на четырех... Медведь!

То-то встречались иногда на дне обгрызенные рыбы головы! То-то боялись забираться сюда деревенские псы: пугали грозные следы.

«Ишь, не хочет мишка спать в берлоге, наладился кормиться рыбкой среди зимы... - соображала сонная голова Размахая. – Известное дело: спишь, - не живёшь».

И приснилось дальше – медведь тот... нет, большая медведица!.. выломилась из озерного льда и взошла по ночному небосклону, раздвигая звезды лапами, и улеглась там, под Полярной звездой, будто в берлоге.

9.

Две недели прошло – немного успокоился Семён.

Да и озеро поуспокоилось. Затоптанная береговая трава поднялась, кувшинки разостлали по воде широкие листья, и бутоны их готовились распуститься – самые таинственные, самые красивые цветы на свете! Лягушки посвистывали и напевали по ночам; серая утка мирно насиживала яйца - вот-вот у нее должны были появиться утята: сверчок Касьян давно уже перекочевал из подпечка на волю. Барыня привела откуда-то шестерых котят, уже зрячих, – где она успела их вырастить?! Кошачье семейство гуляло целыми днями, а вечерами располагалось на диване смотреть телевизор.

В общем, жизнь шла своим чередом. Семён не заметил, как накатилась очередная суббота.

Он, вернувшись домой с работы, смолот лукошко овса на ручных жерновах, замочил на завтра десять горстей, а из замоченного вчера принялся варить свой любимый кисель. У Семёна было тревожное настроение; прогноз погоды на выходные дни был неопределенный: местами, мол, осадки. А будет дождь над Архиполовкой и озером или нет – как понять?

Руки работу выполняли привычно, то есть ложкой в киселе болтали, а вот голова была столь занята размышлениями, что это не замедлило сказаться: в избе запахло вдруг очень знакомо. Семён, матюгавшийся очень редко, тут просто не мог удержаться, потом как был голоден, вследствие чего выразился чересчур увесисто – кошка Барыня оглянулась на него с изумлением и лапой прикрыла уши котяткам. Вылив кисель в миску, Семён поскреб немного ложкой и страдающе заглянул в кастрюлю – на дне обнажилась угольная чернота.

«Ничего, - решил он хмуро, - годится... Не такой едали!»

Барыня посмотрела на него презрительно – совсем, между прочим, перестала уважать хозяина: рыбой сыта, паскуда (загоняет плотву под берег и очень ловко таскает когтистой лапой), и

привычно уставилась в телевизор; котята спали, уткнувшись носами ей в живот.

Что бы ни происходило в телевизоре, все Барыне интересно, а более всего прочего кошку привлекали игровые виды спорта – футбол, хоккей, теннис – тогда она вся напрягалась, как перед прыжком, глаза становились большими, кончик хвоста не знал покоя, а когти в лапах не убирались вовсе: того и гляди, сцапает с экрана футбольный мяч, игрока или даже судью.

Сегодня Барыня настроена была мирно: в телевизоре драматически повествовали о ракетах среднего радиуса действия, о военно-промышленном комплексе зарубежных стран, о космическом вооружении – вести были плохие, но это мало тревожило кошку; она сидела в уверенности: разберутся, мол, как-нибудь без меня; наши, мол, не дадут себя съесть. А вообще-то, до чего бестолковы люди! Она и о хозяине своем по той же причине была невысокого мнения, как сам он догадывался; во всяком случае, частенько ловил на себе ее ухмылку и презрительный взгляд.

За окном разгулялся ветер, в избе же было уютней обычного, только свет иногда мигал, и это тревожило: должно быть, где-то столб вот-вот повалится – небось тот, что за скотным двором, он уже похилился от старости, или другой, у Панютина ручья, там подмыло, упадет – сидеть без электричества сутки-двое, а то и трое.

Семён посолил щедро щепотью – овсяный кисель соль любит! – налил поверху лужицу подсолнечного масла, прижимая отверстие бутылки большим пальцем, и сел перед телевизором с миской киселя и горбухой черного хлеба, намереваясь коротать вечер в приятном одиночестве.

И вот тут постучали в окно:

- Эй, хозяин! Пусти переночевать.

Семён слегка опешил: за стеклом маячила незнакомая голова в кепочке с длинным-предлинным козырьком – такие кепочки носят только иностранцы.

Кого это черти принесли? Неужели туристы? В такую-то пору! И где же они, собаки, пробрались? Ведь полоса обороны непреодолима для ихнего транспорта. Или они самым верным способом – пёхом?

На крыльце по-хозяйски затоптали – так нахально, незваными могут впереться в дом только туристы, и никакие не иностранцы. В избу вошли двое, остановились у двери – молодой рослый мужчина лет не более тридцати и хрупкая, болезненного

вида женщина в неопределенном возрасте, можно и двадцать дать, можно и в два раза больше. Странная пара, вот что подумалось Семёну: он-то высокий, статный, с решительным волевым подбородком и твердыми, красивыми губами, со взглядом смелым и даже нахальным, а она худенькая, невидненькая... кисти рук выглядывают из рукавов плаща – тонкие, слабые, как лягушьи лапки... длинные пальцы словно с перепонками. Она стояла не рядом со спутником своим, а чуть позади, как бы за его плечом, молчаливо, будто тень. Однако именно на нее уставилась Барыня, и шерсть на кошkiem загривке поднялась дыбом, а зрачки расширились и стали прямо-таки во все глаза.

- Здравствуй, хозяин! – сказал турист так весело, словно их тут ждали-ждали, аж ногами семенили. – Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.

- Не балагурь, Рома, - тихо сказала ему спутница.

Вот чем решительно не понравилась хозяину гостя: плащ был у нее какой-то... какого-то линялого, неприятного цвета, а уж как скроено... наверно, что-то сверхмодное: этакими складками свободными и непонятно где сшито. То ли из-за этого плаща, то ли еще из-за чего – все в ней казалось совсем-совсем чужим, даже ветерок веял от нее холодный.

Топорщиться, как кошка Барыня, Семён не стал, а просто оглядел гостью без церемоний.

«Страшнее атомной войны, - определил Семён и пожалел не ее, а бравого туриста: - Эх, ты, недопёка! Не мог уж получше подыскать. Или у вас в городе и эта за хорошую сходит?»

- Не исключено, что нас сейчас вытолкают в шею, - опять тихо сказала эта особа и отступила за спину спутника, исчезла.

Барыня между тем проворно перетаскала свой выводок под диван.

- Огонёк твоего дома, хозяин, служил нам путеводной звездой, - продолжал гость. – Если б не он – пропасть бы нам в ночи, окаянным.

Уж больно весело он это говорил, и спутница, по-видимому, опять урезонила его. Что именно она еще сказала, Семён не разобрал, долетела только часть фразы:

- ...не вписываешься в эмоциональный фон... Мы явились не вовремя.

- Позволь в этом усомниться, умница моя. Законы гостеприимства одинаковы для всех, и для ласковых, и для сердитых. И они, между прочим, обязывают... Разве не должны мы этим воспользоваться?

Где-то вроде бы видел его Семён, этого деятеля по имени Рома. Голос знаком, да и личность... особенно когда снял кепочку. Волосы у него зачесаны обыкновенно, прямо назад, смешной вихорек топорщился надо лбом с правой стороны – Рома пригладил его знакомым жестом. Погоди-ка, кто же это? Или просто на кого-то похож?

- А что ж в гостиницу-то? – Семён с сожалением отодвинул миску: ну не дают человеку поесть! Целый день на ногах, а пришел домой – и тут покою нет. – Налево за углом в вишеннике – люкс для интуристов, а если пару остановок проехать на метро, а потом на трамвае – будет высотная, для особо важных персон.

Гость улыбнулся, а за его спиной раздался вроде бы смех. Нет, не смех, а какие-то странные звуки, похожие на те, что бывают, когда стекло керосиновой лампы протираешь сухой газетой. А что, собственно, смешного в его словах, если не знать, что за кабинетик налево за углом и почему он не похож на гостиничный номер люкс?

Не дождавшись хозяйского приглашения, гости сели на лавку. Тут как раз свет мигнул и погас. Зажглись из-под дивана два зеленых кошачьих глаза – они почему-то были прямо-таки яростными.

- Ну вот, - сказал Семён удовлетворенно. – Теперь сидеть при лучине до понедельника.

Он не спеша встал, уверенно прошел по темной избе, чиркнул спичку и зажег не лучину, а керосиновую лампу. Стекло потер сухой газеткой – ну да, звук похож на странный смех этой особы. Сверчок Касьян вдруг запел в кухонном чулане – чего это он прихромал с улицы сюда? А-а, от дождя спасается! Или на гостей решил полюбопытствовать? А чего он распелся-то?

- Хорошо, да? – сказал гость своей спутнице.

- Ради этого я сюда и ехала, - тихонько отозвалась она.

Все-таки до чего знакомый у него голос! А вот заколодило – никак не вспомнишь, кто это, где видел. Семён установил стекло в лампе, покрутил фитилек, прибавляя свету, и осведомился:

- И куда же, извините за выражение, путь держите?

Ему хотелось так ядовито выразиться, чтоб им стало тошно и они поняли бы, отчего в старину говаривали: незваный гость хуже татарина.

- Озеро ищем, - объяснил турист. – Тут где-то замечательное озеро есть.

Лицо его при скудном свете керосиновой лампы выглядело особенно мужественным: резче обозначились –прямые линии бровей, губ.

Вишь чего им занадобилось! А нужны ли вы озеру, подумали?

- Что ж, погода подходящая, - сказал Семён, ожесточаясь. – В эту пору хороший хозяин собаку со двора не прогонит, а вы, значит, порыбачить или позагорать?

- Просто полюбоваться, чистым воздухом подышать.

- М-да... Под дождичком да ночью, оно конечно, отчего не полюбоваться. А дорога досюда одно удовольствие... Вы пешим порядком?

- Нет, на автомобиле.

«Ха! В болоте утопили... А мужик то ли из военных, то ли их спортсменов».

- А где ж он, ваш автомобиль?

- Да тут... у крыльца.

Что-то не слышно было, как они подъехали. Однако гости не выказывали тревоги, значит, не завязли. Почему?

Хозяин чуть увял: пробрались. Как им удалось? Неясно. Теперь они как охотники перед медвежьей берлогой: не уйдут, пока не затравят. Из дома можно выгнать, а от озера как?

Кошка Барыня, спрятавшись под диван, всё никак не могла успокоиться: сидела в позе тигра, готового броситься на врага, хвост ее напряженно барабанил по полу. Семён наклонился и погладил кошку, успокаивая.

А гостя внимательно, будто изучая, оглядывала внутреннее убранство и устройство Размахаева жилища, переводя взгляд с одного на другое; больше всего ей понравилась, видимо, печная занавеска, сделанная, кстати сказать, из Маниной юбки. На занавеске сохранился карман от юбки той. С нее эта женщина перевела взгляд на голбец, заваленный всяческой одежной и подушками; потом на западню в подпол, в которую был вкручен бурак с кольцом; с западни на вешалку, где висел мокрый брезентовый плащ хозяина; потом повернулась к божнице с книгами. Даже щели в полу и потолке ее, по-видимому, интересовали.

Она сидела почти невидимой, только лицо бледно проступало в темноте а вот глаза – глаза были видны Семёну отчётливо, они немного светились, как у кошки. Кстати, на Барыню она не обращала никакого внимания, а когда, наконец, посмотрела, та дёрнулась, как от удара электрическим током.

- По-моему, пахнет овсяным киселём, - заметил тихонько турист, - причем подгорелым. А по-твоему как, умница моя?

- ты ошибаешься, - ответила ему умница так же тихо. – В этом доме пахнет рыбой, причем очень большой рыбой. Тут некогда варили сома, да и не один раз.

Услышав про сома, Семён немного смутился.

Они же продолжали разговаривать мед собой вполголоса:

- Неужели в здешнем озере водится большая рыба?

- Не сомневайтесь, Роман Иваныч, оно не простое, а Царь-озеро. Средоточие жизни и самое уязвимое ее место, как Ахиллесова пята.

- Так-так-так... а сом – это вот такой с усами, да? Похож на кита, вено?

- На рояль... Среди них попадаются великаны – на каждом можно построить деревню, распахать поле, вырастить лес... Но на здешнем Царь-озере живут только маленькие сомы – так себе, пуда на два, на три, не больше.

- Ого! Я готов выловить и совсем маленького, килов на десять.

Семён не выдержал и, чтоб повернуть беседу в иное русло, сообщил гостям, то, во-первых, колхоз у них недаром называется «Партизанский край»: здесь некогда шли упорные бои – и местность до сих пор не разминирована; сапёры недавно наведались, заявили, что мины проржавели, снять их уже нет возможности, так что ходить по берегам озера запрещено. Кстати, на прошлой неделе корова наступила на противотанковую – рога до сих пор висят на елке, любопытные могут посмотреть. А во-вторых, по распоряжению Сверкалова, председателя местного колхоза, в озеро сбрасывают ядохимикаты, чтоб не травить ими поля; в отчетности по внесению химии полный порядок, а вся рыба передохла, даже лягушки не живут; зато расплодились желтые змеи без глаз, они выползают по ночам и жалят до смертельного исхода; на прошлой неделе укусили заезжего уполномоченного сквозь резиновый сапог – теперь лежит в реанимации, никак не могут выходить.

Гости слушали со вниманием, во всяком случае, не перебивали его, и это подогревало Семёна. Он хотел уже рассказать про озерные испарения, которые столь вредны, что у женщин, приезжающих сюда, выпадают волосы, а у мужиков зубы. Но его опередил голосок со странненьким смехом:

- А по ночам над озером поднимается туман, от которого люди лысеют и у них выпадают зубы.

- Ну да, - отозвался Семён озадаченно и замолчал.

Как она могла знать то, что известно было одному лишь Размахаеву Семёну?

Тут как раз порывом ветра где-то, небось у Панютина ручья, качнуло столб в нужную сторону, разрыв в электросети замкнулся, в доме вспыхнул свет. Телевизор мягко загудел и, секунду спустя, экран трепетно полыхнул синей зарницей: появилась дикторша, она извещала интересующихся о событиях в мире. Где-то горели леса, стадо китов выбросилось на берег, поселок горняков провалился в шахтные выработки, два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб в туннеле под горным хребтом...

Барыня не обращала никакого внимания на любимый экран, она не сводила глаз с незнакомых ей людей, а вернее, с женщины в плаще; куда кошка заховала котят, неведомо – они не показывались. А уж Касьяшка распелся – не унять. Чему-то он ужасно радовался, раз так напевал.

Вот теперь можно было хорошо разглядеть обоих гостей. Но Семён невольно, как и Барыня, смотрел только на женщину. Что-то настораживало в ней и в то же время властно притягивало. При явных недостатках эта особа странным образом была ужасно интересна и даже привлекательна: лицо узкое, умное, уши прозрачные (или так кажется?), волосы... рыжие, или, вернее оранжевые? А впрочем, при различном освещении они разные, давеча при керосиновой лампе показались черными. А что до всего прочего, то и не разглядишь ничего...

Надо же, бывают такие бабы, а? И на что только польстился этот хахаль! Вон Маня Осоргина – что рука, что нога, что все прочее – все основательное, надежное, есть на что глаз положить. А тут какая отрада?.. Но все ничто по сравнению с глазами гостыи! О каких недостатках можно толковать, когда такие, прямо-таки неземные глаза!

Гости негромко переговаривались, и хозяин уловил отрывок их разговора.

- Нет-нет, - тихонько убеждала своего спутника женщина, - здесь самое заветное место. На всей земле другого такого не сыскать!

- Но ты слышала, что он утверждает?

- У него есть основания так говорить, Рома.

- Вот видишь!

- Ты не понял меня. Тут чистейшее озеро, незамутненное, как око земное. Вода исключительно чиста, животворна, волшебна. Леса по берегам не знают больших бед, разве что маленькие обиды, но они не в счет.

- Но ты здесь не была раньше, потому и заблуждаешься...

- Того я и сама не знаю, Рома, была ли, не была ли.

- ...а наш хозяин – человек здешний, абориген, можно сказать. Так что он владеет полной информацией. По-моему, он механизатор.

- Нет, у него иное призвание. А пока что он пастух.

- Что, судьба к нему несправедлива?

- Я у судьбы в резерве, - сказал Семён пересохшим голосом, однако довольно дерзко, и повторил: - Она держит меня про запас... для особо важного дела.

С минуту, не меньше, длилось молчание. Или так показалось Семёну?

- Переночуем здесь, - решил Роман. – Мне лично нравится и дом, и его хозяин.

Она ему прошелестела:

- Зато мы с тобой не нравимся хозяину!

- Вот как... Жаль. Но уже поздно нам искать что-нибудь другое!

- Который час? – спросила женщина в телевизор, спросила твёрдо и властно.

Дикторша озадаченно ответила ей:

- Половина двенадцатого.

Ответила!.. Семён обомлел. Под сердцем у него испуганно ворохнулось.

- Вы обещали на завтра по Москве дождь, а откуда ж он возьмется, если тучи иссякают, не доходя при северо-западном ветре до Волоколамска и Талдома?

- Я не виновата, - пролепетала дикторша. Сводку не мы составляем...

- Ну, так сообщите им! Кто там сочиняет сводки погоды? Зачем же вводить людей в заблуждение!

О, каким тоном она может разговаривать, эта слабенькая, хилая женщина!

Растерянную дикторшу в телевизоре сменил какое-то испуганный тип - наверно, кто-то из осветителей или операторов; у них там начался явный переполох – телевизор мягко щёлкнул и выключился сам собой.

- А всё-таки пахнет овсяным киселём, - сказал Роман, вставая. – Меня таким угощали в Полесье; правда, не подгорелым.

Женщина опустила в карман плаща тонкую руку, вынула какое-то прутик, разломала его несколько раз и бросила на пол – слышно было, как просеялся по половицам этот мусор – тот-час ветерком опахло Семёна, и в избе густо запахло рыбным ароматом – да, вареной сомятиной, не иначе; будто на шесток

вытащили ведерный чугунок, откинули прикрывавшую его сверху сковородку, и пар от разваренной рыбы ударил в потолок, растекаясь по избе. Барыня порскнула из-под дивана в подпечек.

Семён ничего не ответил на «до свидания» своих гостей, сидел, как онемевший. А они вышли с самыми невинными лицами.

10.

Утром проснулся, как и полагается пастуху, на рассвете. О вчерашних своих гостях вспомнил, как о странном сне. Именно как о сне, и ни секунды не сомневался, что они ему пригрезились: задремал возле телевизора, вот и... Надо же, какая чепуха: даже будто бы дикторша разговаривала напрямую с гостьей – это анекдот для психически ненормальных, а не для Размахаева Семёна Степановича. Ну, и насчет того, что догадались про сома, быть не могло – это ему приснилось. Да и разве можно было добраться вчера до Архиполовки на машине! Тут нужно тягач запрягать.

Но, выйдя на крыльцо, он онемел: рядом с его палисадником на луговине стояла маленькая легковушечка, ужасно похожая на божью коровку не только окраской своей, но и телосложением; под низкими бортами колес не было видно, того и гляди, высунутся оттуда черные лапки. Рядом растопырилась оранжевая палатка, высокая, со слюдяным окошком и с крылечком, как у настоящего домика, все честь честью. Ни звука не слышалось оттуда, и мокрая трава на луговине была нетронута, будто и машина, и палатка спустились с неба.

Семён стоял, как перед наваждением, разглядывал и не верил своим глазам: на полотняных стенах домика-палатки нарисованы какие-то знаки, а на двери – огромный, с локоть, усатый рак. Ну да, обыкновенный рак, такие водятся и в озере. Особенно много их возле Векшиной протоки и в ней самой.

«Цыганский балаган», - с опаской выразился Семён и обошел поселение стороной. Остановился посреди улицы, хотел по обыкновению хлопнуть кнутом, но передумал, а, оглянувшись, ужасно расстроился: нарисованный рак почему-то переполз с двери на крышу палатки, а усы выставил антеннами вверх.

«Издеваются... фокусы устраивают. Ничего, меня за рубль двадцать не купишь... Нашли кого удивить! Да я и не такое видывал!»

Впрочем, что именно из «такого» он видывал, не назвал бы. Еще раз оглянувшись на палатку, осторожно постучал в соседское окно:

- Баб Вера! Выгоняй Малинку.

Вера Антоновна открыла калитку, уперла руки в боки, глядя на машину с палаткой, сказала:

- Ишь ты! Нашли место. Скоро нам на загорбок сядут.

А утро начиналось ясное, тихое; на небе ни облачка, словно и не было низких туч вчера вечером, словно и не дул резкий холодный ветер. Озеро лежало незамутненным зеркалом, теплынь была разлита в воздухе от земли до неба.

Все это никак не порадовало Семёна Размахаева, а совсем даже напротив: омрачило. Пока собирал деревенских коров, да пока сгонял колхозных со скотного двора – оглядывался на озеро: того и гляди, выскочат палатки на берегу, как грибы после дождя. Как та, что у его собственного палисадника.

Солнце двинулось в обход озера издавна заведенным порядком, тут бы и Семёну со стадом следовать за ним, но он остановил свое воинство неподалеку от Хлыновского лога: отсюда и деревня видна, и шоссе; остановил и увидел то, что можно было ожидать. На берегу за кустами стояла молчаливая палатка самого обычного вида, а рядом еще одна и виднелся зад обыкновенной легковушки со столичным номерным знаком.

Пробрались-таки... По-видимому, еще вчера. Вот прохиндейская порода!

Семён огорчился, но не очень; может быть, потому, что палатки эти были молчаливы, никакого нарушения общего порядка с их стороны не наблюдалось. Гораздо более занимало теперь другое: он оглядывался в сторону деревни и видел, что возле его дома на зелени палисадника будто дразнился оранжевый лоскут, и рядом с ним красное солнышко вставало.

«Так что же, - снова и снова размышлял пастух, - все вчерашнее было на самом деле? Как с телевизором... и как она про сома угадала... Чепуха какая, а!»

Он был просто сам не свой: расщепилось всё пополам, и где жизненное, а где придуманное, теперь уж не разобрать. Он впервые столкнулся с такой неправдоподобией, как с несомненной очевидностью. Хотя, если разобраться...

И тут воодушевление постепенно овладело пастухом.

«Жалко, не пустил я их переночевать... - пожалел Размахай запоздало. – Интересно же, о чем бы они говорили... Чего я вчера так перепугался-то!»

Тут он отвлекся маленько от этих размышлений: сразу четыре автомашины остановились у съезда с новой дороги у его шлагбаума. Постояли и, воровато вильнув, объехали это препятствие, поползли к лесу. Одна, слава богу, ухнула в ров, выкопанный Размахаем; другая проехала по ней, как по мосточку, но попала в другой ров; а третья проехала по ним обеим и возле указателя «Объезд» свернула в болото, откуда уже не вернулась; зато следующая оказалась хитрей всех – она не обратила внимания на указатель, а проехала прямо через перелесок, ловко виляя между недавно посаженными березками. Семён плюнул с досады.

Немного погодя, он увидел, как у шлагбаума две «Волги» повернули было в обратный путь, но подумав, стали съезжать с асфальтового полотна и покатали вдруг безо всякой дороги, по лугу.

Легковушки выползали на берег, глядели стеклянными глазами на деревню Архиполовку и занимали, занимали самые выгодные позиции. Запестрели шатры... Послышался чей-то задвленный хрип – нет, не преступление там совершалось, это такая песня. Пьяного мужика тащат за руки, за ноги в вытрезвитель, а он орет благим матом – у Холеры подобной музыки много.

Семён с выражением полного бессилия глядел на все это и слушал. Вон уже плавают резиновые лодки, две из них навесили по мотору и устроили гонки вокруг срединного острова. Этого пастух не вынес, посгрудил стадо свое и двинул по берегу, как было задумано им еще вчера.

«Вперед!... Наше дело правое».

Первое попавшееся на пути формирование чужеземной рати, прибывшее, должно быть ночью, еще дрыхло. Две машины, три палатки... Слышался победный храп, означавший полное удовлетворение физиологических потребностей. Лениво дымил костер, валялись обглоданные кости, в железных кожухах дремали табуны лошадиных сил, полотна шатров слегка огрузли от утренней сырости.

Два-три хлопка кнутом – деловито шагающее стадо, сопящее, жующее, навалилось на этот первый стан: загремел котелок, зазвенели кружки, зашуршал коровий бок по одежке автомобиля; рогатая морда заглянула в зеркальце заднего обзора и облизала его; костер был растоптан в считанные секунды.

У входа в шатер-палатку самая старательная корова наложила хорошую лепёху, раздался испуганный женский вскрик. Из

этого полотняного жилья выскочил встрепанный бородатый детина, закричал:

- Ты! Мужик! Ослеп, что ли?

Семён широко размахнулся, оглушительно хлопнул кнутом, отчего задние коровы стали напирать на передних – и все вместе они повалили напролом. Детина озадаченно отступил.

Стадо прошло, оставив площадку, облюбованную гостями, растерзанной.

- Вот так, Митрий, - сказал Размахай быку. – А то: чти, говорит, Уголовный Кодекс. Я чту!

Митя на ходу покивал согласно тяжелой головой, а сказать ничего не сказал: умный, собака, до невозможности!

Стадо подступило к следующим палаткам: здесь машина «скорой помощи» и вокруг нее три развеселых шалаша, а трава вокруг была так выбита, словно топталось тут вчера весь вечер стадо коров голов на полсотни. Так притомились топтуны, что и закуски за собой не убрали.

- Здесь постоим, - сказал Семён Мите и помахал рукой передним коровам, останавливая свое рогатое воинство, а потом и забежал вперед, закручивая его в карусель. Коровы быстро разобрались в остатках вчерашнего пиршества, причем ели все подряд: хлеб с колбасой, свежие огурчики и сыр с плесенью, зеленый горошек из банок стеклянных и шпроты из банок жестяных; жевали селедку, поплеывая костями, сноровисто вытряхивали из красивой упаковки сушки и баранки; Митя задумчиво сжевал батон белого, понюхал початую бутылку, но пить не стал. Малинка съела плитку шоколада с фольгой. Милашка разобралась с грецкими орехами – давила их копытом и очень ловко выбирала съедобное своим толстым языком.

Покончив с деликатесами, коровы принялись выщипывать примятую травку, в особенности из-под шалашиков. Опять слышалось женское «Ой!» Не очень картинно, на карачках задом наперед вылез человек в спортивных штанах с белыми лампасами, и с брюшком.

- Эй, товарищ! – окликнул он Семёна, хоть и хмурясь, но жестикулируя вежливо.

Наверняка с высшим образованием мужик.

Пастух подвинул на него коров, и он отступил к воде, а отступая, споткнулся. Ему на помощь вылез сосед – этот сразу заорал:

- Куда ты, морда, лезешь!

При этом поддел корову ногой. Кнут полоснул с ним рядышком, впритирку, так что этот воитель даже подпрыгнул.

- Только тронь у меня еще раз животину! – пригрозил Семён. – Я тебя исполосую.

Воитель остановился, разинув рот, слова застряли в горле.

- Ты ей под вымя, собака! – поднажал на голос Семён. – Она ж кровью доить будет!

Оба, и вежливый и невежливый, стали оправдываться, что-де они ничего такого, а пастух посгрудил коров, приговаривая:

- Ишь, сколько вас тут понаехало! Стадо пасти негде.

Вылезла женщина – вот ей бы быть мужиком! Она подняла откуда-то взявшийся кол, огрела одну корову, другую, а Семёну навстречу выразилась так круто, что настала его очередь озадачиться: ай да «скорая помощь»! Она и на Митю тоже подняла кол, а тот не сразу сообразил, что это действие угрожает его безопасности, и весело шагнул ей навстречу. Женщина взвизгнула и задом упятилась в шалаш.

- Молодец Митя! – похвалил его Семён. – Слабый пол уважает силу.

Отсюда рогатое воинство удалилось с большим почетом, с полной победой.

Так и двигались, разоряя одно становище за другим.

Но вот встретили такое, на котором оказались люди с иной планеты – с Марса или как там еще. Машина у них, правда черная, а вот палатка и резиновая лодка – красные-красные. Митя, как увидел эту красоту, налился яростью и осwirепел. Не очень, а больше для виду, однако грозное мычание вырвалось у него.

Марсиане были одеты в резиновые костюмы со стеклянными масками. Митя не обращал на них внимания, поскольку ихний цвет его не раздражал. Один из этих людей как раз выбирался из воды, держа в руках диковинное ружье со стрелой, другой стоял по колено в воде и объяснялся с первым знаками.

Рядом с костром на травке лежал сомёнок килограмма на четыре с гаком, возле жаберной крышки у него зияла глубокая рана. Семён нахмурился и двинул Митю на неприятеля. Митя грозно заревел, пуская слюни, угнув голову к лодке, которую не успели еще спустить на воду, и поддел ее рогом. Лодка тотчас мягко опала, как опадает на землю парашют. Это сразу удовлетворило и утихомирило Митрия, зато марсиане заревели примерно так же, как он секунды две-три назад. Один из них прицелился из ружья в Митю, но Семён резко, оглушительно хлопнул – этот выстрел раздался как раз рядом с ружьем.

Парни не испугались, они посбрасывали с себя резину, вылезли, словно стрекозы из старых шкур, и оказались двумя рослыми парнями вполне земной внешности. На виду у всего стада, как-то очень проворно, сноровисто надавали они оплеух Семёну с двух сторон, засветили фонарь под левым глазом и сшибли с ног. Но самое горестное – лишили его ещё одного зуба, Ну, Семён тоже им кое-что засветил, они могли им быть довольны, но силы всё-таки оказались явно неравны: их было двое, к тому же они очень упористо действовали и ногами – того и гляди пяткой выбьют ребро.

Пришлось отступить: как говорится, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь мертвецом. Семён сказал им, однако, что это ничего, сейчас он вернётся с братьями и можно будет поговорить ещё. Никаких братьев у Размахая никогда не бывало, но не все же об этом знают!

- Вы только не уезжайте, собаки! – говорил своим врагам Семён, умываясь озёрной водой. – Сейчас мы вам поднакидаем, погодите маленько. Вы меня запомните, да и не одного меня.

При этом он поглядывал на Митю нелюбопытно: мог бы поддержать своего человека! Но бык вёл себя прискорбно: моя-де хата с краю, мы-де так не договаривались, чтоб братья с туристами, и это-де не мои проблемы. А моё, мол, дело не оставлять без внимания Малинку, Сестричку, Белянку, Красотку, Милашку. Отвернулся, морда, и пошёл вслед за ними. Вот и понадейся на такого.

- Ладно-ладно, - обещающе сказал пастух этим самым самбистам-каратастам, покидая место сражения. – Ещё не вечер.

Какое там вечер, когда и до полудня было далеко!

Отойдя же от них на некоторое расстояние, Семён вырвал выбитый зуб, болтавшийся на коже, сплюнул кровь и забился в чащу леса, чтоб не видела ни одна живая душа, сел прямо на землю, на мох, и заплакал. От обиды, только что ему нанесённой, от чувства одиночества, охватившего его в эти минуты с особенной властью, а главное от бессилья, что не может предотвратить нашествие, а, следовательно, - он в этом был теперь убеждён! – и погубления озера. Он плакал, как это бывало с ним только в детстве, и от солёных слёз нестерпимо щипало ссадину под глазом; вытирал лицо рукавом разорванной рубахи, и в этом была тоже мера обиды и унижения. Как хорошо, что никто не видел его в эту минуту! Никто никогда не узнает о его минутной слабости, и это немного утешало.

Когда он, таясь за кустами, вернулся на берег, то увидел, что угроза его возымела действие: эти двое, что обошлись с ним столь немилосердно, спешно подбирали с луговины раскиданные вещи и таскали к машине. Они явно собирались уносить ноги - заопасались, значит: а ну как этот мужик брательников приведет! Вот и «скорая помощь», прощально огласив озеро своей сиреной, удалилась в сторону асфальтовой дороги. За ней увязалась голубая «Волга», и еще одна... Надо думать, они сюда больше не приедут. Возможно и кое-кому посоветуют не ездить, а то, мол, там пастух гоняет коровью рать по берегу, разоряя туристические становища, вольготной жизни нет.

«Наш скорбный труд не пропадет, - приободрился Размахай, трогая разбитое подглазье. – Чем это он меня саданул, каратист этот? Не может быть, чтоб голым кулаком! Что-то в руку взял, собака... Ну ничего, зато они седлают коней, укладывают шатры в кибитки и откочевывают отсюда».

11.

- Не пропадет наш скорбный труд и дум высокое стремление! – сказал Семён уже вслух и расправил ноющие плечи.

Конечно, когда драться человек непривычен, такая встряска совсем ни к чему, но как быть иначе! Иначе никак не получалось.

Он собрал разбредшихся коров и погнал их дальше, на разгром и разгон следующих вражеских становищ. И вот тут случилось то, чего он меньше всего ожидал: коровы остановились, со всех сторон тесня... уже знакомую ему «божью коровку» и оранжевую палатку-шатер с загадочными письменами и нарисованным раком, который сидел опять на двери, но уже вниз головой, будто собирался переползти на траву. Это был именно нарисованный рак, а не какой-нибудь другой – тут не могло быть сомнений – но почему он ползал-то? И как перебрались сюда ночные гости, если посолонь он шел со стадом и миновать его они не могли, а если против солнца по берегу озера – там Векшина протока и клюквенное болотце. И на тракторе не проедешь. Однако же они вот здесь и даже этак обжились.

Губа у них не дура: тут самое живописное место на всем озере, потому его и выбрали эти двое – залив с кувшинками, ивы свесили ветки до самой воды, крутой травянистый скат берега...

Женщина, одетая в кофточку-распахачку и что-то вроде штаников, и то, и другое ярко-алое, стояла у палатки и живо говорила столпившимся вокруг нее коровам неведомо что. Они ее слушали, как слушают школьники наставления учительницы. Пастух успел отметить, что на этот раз голос ее звучит иначе, нежели вчера вечером, - не шелестит, будто сухая бумага по стеклу, а вполне мелодичен и ласков.

Вдруг из-за кустов горой выдвинулся Митя, алый цвет мгновенно взъярил его, и он, коротко мыкнув, пошел на женщину, пригибая голову самым угрожающим образом, - а рога у Мити острые, как веретёна или хват с заточенными концами.

- Митрий! – Семён рванулся наперерез, а туристка эта легкомысленно шагнула навстречу быку.

- Гляди, рогом пырнет! – закричал пастух, сознавая, что не успеет, и как бы в самом деле... не взбрело бы что-нибудь в шальную бычью башку! – За дерево, за дерево встань!

Женщина его не послушалась, легким жестом вскинула руку навстречу Мите, ладонью вперед, и бык тотчас замер, будто наткнувшись на невидимую стену. Более того, она подошла к Мите, погладила буйный чубчик меж рогов, - какая у нее тонкая, какая слабая рука! – и бык покорно рухнул на согнутые передние ноги, будто поклонился.

И Семён остановился, тяжело дыша, переводил взгляд с женщины на своего приятеля Митю и обратно. Только теперь заметил он Романа – тот сидел на бережку и сохранял полное спокойствие.

Словно ничего особенного она и не совершила, женщина так же спокойно и молча подошла к Семёну, приложила зеленый листочек к разбитому подглазью.

- Вэ виктис, - непонятно сказала она и, сострадавая, вздохнула. – Подержите так, скоро заживет.

Семён строптиво мотнул головой – пройдет, мол! – прохладный листочек отвалился, но заплывший глаз уже смотрел бодрее.

- Зачем, зачем вы все такие? – продолжала она. – Это же очень больно, и тебе, и им. Как же так можно!

- Ты о чем, умница? – спросил ее Роман. – Если не ошибаюсь, «вэ виктис» в переводе с латыни означает «горе побежденным». Кто победит его, если судьба к нему благосклонна?

Он был в рубашке с закатанными рукавами, мокрые волосы прилипли ко лбу, а вихорёк все равно топорщился, и это было очень смешно.

- Представь себе, у них там только что была драка. Я не успела вмешаться. Семёна Степановича били кулаками, ногами... А он был ничуть не лучше: тоже бил.

Роман вскочил как-то по-особенному пружинисто:

- Дрался? С кем? Из-за чего? Где?

- Но самое удивительное, - продолжала его подруга, - что делал он это очень сноровисто, будто привычную работу выполнял... Люди, где ваш разум?!

Роман не обратил внимания на ее горестный возглас. Он весь был мобилизован, будто сидел в окопе, а теперь прозвучала команда: к бою! Сейчас выпрыгнет на бруствер и побежит с винтовкой наперевес, с азартным, злым взглядом, весь собранный, сжатый, как пружина на взводе. Размахай готов был поклясться, что видел его где-то.

- Ты победил, Семён Степаныч, или потерпел поражение?

Ишь, откуда-то узнали имя-отчество... Это чрезвычайно польстило Размахая, и он рассказал историю о самбистах-каратистах, которых только что отлупил за браконьерство и которые совершенно случайно умудрились заехать ему, Семёну Размахаяеву, в глаз. Рассказал небрежно, как о деле пустяковом и привычном.

- Я перед тобой преклоняюсь, Семён Степаныч, - сказал Роман на это и даже сделал полупоклон. – Рукопашная схватка – высшее испытание человеческой доблести.

Но женщина печально покачала головой.

- Дикари, - проговорила она. – Это же глупо, и стыдно, и недостойно. Мало того, что вы бьёте друг друга, так еще и возводите это в степень, как героический подвиг. Очень стыдно.

Семён и сам чувствовал теперь, что получилось не лучшим образом, но признать это вот так сразу ему не хотелось.

- Здесь заповедник и заказник, - объяснил он. – А туристы безобразничают. Если дать им волю – испакостят все озеро: выловят рыбу сетями, вырубят кусты и деревья по берегам. А много ли ему и надо-то, озеру! Посмотрите, оно ж невелико. Никому его не жалко: жгут костры, на воду бензиновые моторы спускают, моют свои машины, пугают всю живность. Тут бобры живут – вон их дом возле Векшиной протоки. А чуть дальше утка яйца высиживает...

- У нее уже утята, - тихонько сказала женщина. – Одиннадцать штук. Одного, к сожалению, вчера поутру утащила щука.

Размахай замолчал, будто запнувшись: откуда у нее такие сведения? Тем более, что приехала-то не ранее, как вчера вечером.

- Нет-нет, - поспешила женщина рассеять его недоумение, - я не видела... просто знаю, что утята появились позавчера.

Семён кивнул и, ничего не поняв, как бы отодвинул сообщение об утятах, чтоб потом его взвесить в размышлении, а пока продолжал:

- А что творится в мире? Волна качает берега!.. На Онежском озере – вы читали? – два корыта столкнулись, одно с нефтью: берег на два десятка километров запакостили, я вчера по телевизору смотрел, как лопатами собирают эту нефть... Ладогу целлюлозный комбинат задушил – уж и пить из нее нельзя!.. Финский залив – вот собаки! - дамбой перегородили, так он уже гнить начал. И некому такое безобразие остановить! На Рыбинском водохранилище – читали? – древесина лежит на дне. Заилилось все, рыбий мор идет... И вот какое озеро ни возьми – у нас ли в стране, за границей ли – все кричит и стонет!

Семёна слушали так, будто раньше ничего подобного не знали, и это подогревало его. С приложением любимой присказки «волна качает берега!» и любимого ругательства «собаки!» он рассказал, что вчера вычитал в газете: озеро возле Одессы отравили, называется Ялпуг – тысячи судаков валяются там на берегах. Судаки, а не какие-то окунишки! А раков погибших сто тыщ насчитали. Камыш на Ялпуге пожелтел, птицы снялись и улетели – а куда им деться? По мнению Семёна, единственное спасение птицам – это лететь сюда, на Царь-озеро... если, конечно, не займут его туристы.

- Я так думаю: пока мое озеро в целости – на что-то можно надеяться, а не уберегу – хана, конец всему.

Это прозвучало впервые: мое озеро. Турист Роман и его подруга переглянулись, что-то сказали друг другу глазами. Вид у них был виноватый, словно они сознавали свой грех, но не спешили оправдаться.

- Поэтому я объявил запретную зону, - твердо заключил Семён, - заказник и заповедник.

- Но вы мальчика обидели, Семён Степаныч, - тихо возразила женщина. – А чем он провинился?

- Какого мальчика?

- Который спал в палатке, когда случилось нашествие коровьего стада. Ему три годика. Представьте, он еще ни разу в жизни не видел леса, вот этого разнотравья – разве что на картинках. Озеро – только по телевизору! Птиц, стрекоз, муравьев – то же самое. И вот вчера привезли его сюда, а тут все настоящее: шмели гудят, птички поют, листва шелестит...

- Еще бы! – пробормотал Семён.

- Он вечером засыпал и радовался, что слышит, как рядом с палаткой плещется рыбка и как коростель скрипит. Для него все это такое чудо! А утром проснулся – рогатые чудовища около палатки, мычание, крики, хлопанье кнутом...

- Я не знал, что там мальчик, - покаянно сказал Семён, вспомнив Володьку. – А все равно, как было быть? Ждать, когда они натешутся, наиздеваются?

- Но, принимаясь делать что-то, разве можно не взвешивать последствий? Особенно, если это какие-то силовые поступки.

Семён оглянулся в ту сторону, где разорял туристские становища.

- Как его зовут?

- Ванечка.

- Душегуб теперь вырастет из этого младенца, - со вздохом сказал Роман. – Хулиган и бандит, осквернитель природы. А уж сколько он погубит фауны и флоры!

- Хоть ты и шутишь, Рома но, увы, недалек от истины. Что мы посеяли в душе этого маленького человека сегодня?

- Мальчика жалко, - пробормотал Семён и развел руками: а что, мол, было делать!

- Не слушай ее, Семён Степаныч, - дружески утешил Роман. – Хирургическая операция болезненна, но от иных болезней только она и спасает. У тебя с озером как раз тот случай. Гони всех в шею, и дело с концом! Это самый простой и самый эффективный способ, лучшего нет. По-моему, так надо смело и отважно ввязываться в драку, а потом уж смотреть, что из этого получится. Это только на первый взгляд кажется абсурдным, а по существу – самый краткий путь к победе. А если нюни разводить – толку не будет, поверь. Тогда Ванечка, уж точно, никогда не узнает, что такое Царь-озеро.

- Почему, делая добро, вы сеете тотчас и зло? – страдающе возражала женщина. – Как это у вас получается? Самое дурное – когда устанавливают законы, запреты без истинного знания. Должно быть наоборот: сначала знание, потом закон. И нельзя применять грубую силу! Это... это недостойно. Заповедник и заказник должен быть здесь, - она положила свою весомую руку на грудь Семёну, как раз напротив сердца, и сердце тотчас сделало сбой, того и гляди, остановится. —И не только у вас, Семён Степаныч, а у каждого из людей.

- Ведьмочка, не мучай человека раскаянием, - опять вступился Роман. – Это совсем ни к чему: если обратить его в твою веру, он не сможет жить – его распнут, как Христа. За смирение.

Ты пойми, мы живем по другим законам. У нас другие измерения, свои представления о добре и зле. А ты в наш монастырь со своим уставом...

Ладонь женщины опახнула лицо Семёна и чуть тронула рану под глазом – боль совсем исчезла, как будто ее и не было.

- Так нельзя, - повторила она тихо.

- И можно, и нужно! – убежденно возразил Роман. – Я не знаю, прав ты или не прав, Семён Степаныч, со своим запретом на озеро, но мне нравится, что ты сражался сразу с двоими. Пошли с ними поговорим еще раз, по-мужски, двое на двое. Вот они, вот мы, между нами нейтралка. Вперед, Семён! Наше дело правое, победа будет за нами.

И тут Размахая осенило: он узнал его! Как это вчера не смог?.. Это лицо столько вечеров маячило на экране телевизора и столько же звучал этот голос. Уверенный прищур глаз, прямой взгляд... но нет шрама через верхнюю губу и щеку! Шрама нет – вот что сбило вчера с толку.

Этот человек снялся в главной роли многосерийного фильма о бывшем солдате-разведчике по имени Иван, который по прошествии многих лет, будучи старым уже, никак не мог забыть войну, был болен ею. Раз в четыре-пять лет с этим контуженным что-то происходило: в назначенный им самим срок инвалид превращался в солдата. В полночь выходил он из дому, шел скрытно, отсиживался в укромных местах; варил в солдатском котелке кашу, зорко следя, чтоб дым костра не выдал его; считал автомобили на дорогах и трактора в полях; закапывал бумажный сверток под железнодорожное полотно и жадно смотрел, как невредимыми проходят поезда... кидался ничком в траву, в грязь, если показывался высоко вверху самолет... Время от времени короткими пробежками, залегая и вновь поднимаясь, с деревянной палкой наперевес, «брал» очередную высотку, а взяв, долго просиживал в безмолвии и плакал... Ему слышались родные голоса, виделись знакомые лица, чудилось и то, и это.

Усталый, измученный, он продолжал путь далее. Иногда стучался в окно знакомого ему дома, хозяйка которого ахала в изумлении, узнав его. Иван тайно жил у нее день или два и так же тайно покидал гостеприимный кров. Снова шел, таясь от людей, переплывая реки с риском для жизни, переползая поля, проходил неслышно и невидимо через малые селения и большие города.

Непостижимым образом этот бывший фронтовик-разведчик пересекал государственную границу и шел уже по польской

земле; пожилая полячка обнимала его, появившегося перед нею неведомо как и откуда. Он выслушивал ее исповедь о житье-бытье и отправлялся дальше: пробирался по тоннелям метро, по фермам железнодорожного моста... спрыгивал на крышу идущего на полной скорости поезда, вскакивал в мчащийся грузовик...

В очередной раз, перехитрив бдительных пограничников, оказывался уже в нашей зоне Германии. Немецкая семья – две седые женщины, старик и мальчик – при свечах угощали Ивана непременно скудными кушаньями военной поры, а иного он ничего не ел. Этот чужак не знал ни польского, ни немецкого языков, но умудрялся поговорить душевно со всеми.

Наконец, в Берлине его, пляшущего на улице, ликующего, «брали в плен». Следовало выяснение личности, его узнавали знакомые и журналисты, он публично давал обещание, что никогда больше не будет нарушать границ, после чего присмирившего, печального солдата при орденах и медалях с почётом отправляли домой...

Именно такого, калеченного и страдающего, любил его Семён Размахаяев, тем более, что в этих странствиях у Ивана было множество приключений смешных и трогательных, героических и страшных; впрочем, любил он его и молодого, в начале великих испытаний, вот такого красивого, каким ныне – просто невероятно! никто не поверит! – увидел на берегу своего озера.

- Уймись, Рома, - тихо урезонила его спутница. – Тебе только бы сражаться! Ваши враги уже уехали.

- Прекрасно! – актёр так же легко отказался от намерения подраться, как легко и принял это решение. – Ты победил их один, Семён Степаныч. А жаль, я б тоже повоювал с этими каратистами.

- Как вы все любите воевать! – страдала женщина, и глаза ее были такими печальными, что Семён огорчился. – Зачем вам это?

- Воинская доблесть, умница моя, - высшее проявление человеческого духа. Отважные воины – элитарная часть человечества. Подвиг в бою всегда был предметом преклонения и восхищения. И ты не права, утверждая, что война – это болезнь. Войны бывают и священными. Они есть необходимый путь, который надо пройти, чтоб достигнуть нравственного совершенства, да и новой ступени цивилизации тоже. Разве у вас не так?

- Нет, нет, нет, - качала головой женщина, глядя на него, как на неразумное дитя.

- А у нас это ясно каждому. Вот в Архиполовке наверняка пели во дни былые такую частушку...

Запевай, товарищ Семё,

И не бойся критики:

Все хорошие на фронте,

А в тылу – рахитики.

- Слышишь суть? Хорошие те, что на фронте, в бою, они защищают родину. Таков глас народа. Человек должен пройти закалку в огне и воде, равно как и все человечество в целом.

- Ты совсем не похож на своего Ивана, - решительно сказала женщина. – Он – не воин, а хлебопашец по сути своей. Воинский подвиг был для него вынужденной необходимостью, которая его тяжко угнетала. А ты болтун, как все твои друзья-актёры.

- Ну вот, ты уже сердисься, умница моя. Значит, чувствуешь, что не права.

- Тут надо подумать, - сказал сам себе Семён, и на него оглянулись. – Надо подумать.

Удивительным было в эту минуту лицо Размахая! Он, по обыкновению своему, остолбенел, то есть охвачен был весь размышлением. Вот так, да: весь был охвачен и весь направлен, нацелен на работу мысли. Жаль, Роман не оценил, очень уж расположен был к веселости.

- Он мой поклонник, а не твой, - тихо сказал актёр подруге, - следовательно, я прав, а не ты.

- Я тебе его не уступлю, - так же тихо, однако же слышно для Семёна отвечала она, искоса и этак сострадательно наблюдая за ним. – И не корысти ради, а во имя торжества истины.

Взгляд ее, ласковый и спокойный, заставил Семёна оглянуться, он почему-то смутился совсем по-детски.

- А ну, пошли отсюда! – закричал он вдруг на коров, стоявших вокруг них кольцом. – Ишь, вылупились! Интересно им... А ты чего встал? – это коленопреклонённому Мите. – Очень тебя просили!

Стыдно признаться, а как утаить: вдруг испытал приступ ревности к Мите, который так рыцарски рухнул перед женщиной на колени.

12.

Теперь стадо паслось в сторонке, и когда одна из коров вознамерилась было нарушить мирный быт обитателей оранже-

вой палатки и направилась к ним, Семён примерно наказал ее, после чего Митины подруги вели себя благонравно.

Сам же пастух держался в почтительном отдалении от гостей и выискивал в уме своем предлог еще раз подойти, поговорить.

«Она считает, что главная беда от нашего невежества, - размышлял Размахай. – А что? Это верно: невежества в нас очень много. Нужно, мол, убеждение и только оно... А Иван за то, чтоб убеждать самым коротким и сильным способом. Вроде, оба заодно, однако какое между ними несогласие! А я как? Не знаю...»

Он ощущал необыкновенный подъем сил и готов был услужить своим новым знакомым во всем, прикажи они только. Однако, боясь показаться назойливым, удалился ровно настолько, чтоб не мешать им, а в то же время не мог отойти далеко – взгляд его будто магнитом тянуло к этим людям. Пастух следил боковым зрением, как расхаживает по берегу залива с кувшинками актёр – все ему нравилось в этом человеке! – как он мягко, упруго ступает, какие у него крупные красивые руки, а уж голос – тот, Иванов, голос!

Вот – по звуку можно определить – взялся чистить песком сковородку...

«Да я б ему почистил! – вскинулся Семён. - Мне ж это в удовольствие».

Вот закинул поплавочную удочку...

«Господи! – взмолился Размахай. – Пошли ему рыбу... Пусть сомёнок польстится на его червяка... у нас же тут и голавлей пропасть. Что ж вы, собаки, не клюёте!»

И бог послал «солдату» двух окунишек и подлещика – все в младенческом возрасте. Этот улов вызвал столько радости у него, что Семён чуть не прослезился: надо же, вот человек – как ребенок! – радуется такому пустяку.

«Ивану понравится здесь, - вздыхал Семён, не замечая, что называет актёра именем солдата. – А вот я расскажу ему про наши места! Ого! Тут же партизанский край... И он ещё не знает, что такое наше озеро, а это же, это же... Ну ничего, узнает. Пусть всегда приезжает сюда... Тут не какое-нибудь море, где жара, многолюдье... А у него ж бессонница от контузии, ему покой нужен, чистый воздух, хорошее питание...»

Жажда добрых дел томила Семёна, и он собрался-таки с духом и явился предложить свои услуги:

- Давайте какую-нибудь посудину, я вам молока принесу, свежего, парного.

- Ведьмочка! – крикнул актёр. – Ты хочешь парного молока?

Та не отозвалась. Может, обиделась, что так ее назвал?

«А-а, наверно, они поругались!» – догадался Семён.

- Она не понимает, о чем мы ее спрашиваем, - объяснил ему Роман. – Представь себе, она насчет парного молока совсем без понятия.

Пастух озадачился: эта горожанка никогда не пробовала теплого, только что от коровы молока? Он даже испугался этой мысли: неужели такое бывает? Неужели до такой степени человек может быть беден и несчастен?

Актёр этак затруднялся объяснить, не сразу подыскивал слова:

- Видишь ли... боюсь, ты не поймешь... в общем, всякая наша пища ей или незнакома, или непривычна.

Семён сказанное будто на язык попробовал, стараясь угадать по вкусу смысл каждого слова. Хотелось определить, как степень солености, меру шутки.

- Где же она живет? В какой местности? Или она иностранка?

- Как тебе сказать... живет-то она рядом с нами, но... - актёр опять замялся.

Семён взглядом подталкивал его: ну, же! говори!

- Есть такое понятие: искажение пространства. Мы с тобой находимся в мире, где есть длина, ширина, высота – все эти понятия линейные, прямые; они характеризуют наш мир. А если представить себе, что они искривлены, то в пространстве рядом с нами образуются... большие объемы, в которые мы не можем попасть и откуда нам ничего: ни звука, ни пылинки. Так вот, она и ее сограждане живут там. Они рядом, но по ту сторону, за плоскостью. Рядом, но не с нами и не по-нашему.

«Чего он мне мозги пудрит! – подумал Размахай, крайне озадаченный этим «искажением пространства». – Да еще на полном серьёзе. Или думает, он умный, а я дурак?»

А на сердце даже похолодело от присутствия желанной тайны. Сердцем он чувствовал, что тут дело особое, нельзя вот так сразу, с кондачка, отвергать, да и лицо актёра было настолько серьёзным... что не поверить просто грех.

- И там их много?

- Целый народ. Большой заселенный мир, с городами, дорогами, полями.

Ничего себе! Как же они там помещаются, если даже и поля, и города? Что-то тут не так...

- А реки-озера у них есть?

- Да, и их очень берегут.

- Значит, умный народ... Почему же, к примеру, их не слышно? Ни голосов, ни звуков всяких.

- Но иногда ведь бывает, вроде бы как и чудится! Может, это как раз они?

- Почему мы их не видим?

- Ну вот, ты не понимаешь... Впрочем, я сам только делаю вид, что понимаю... не видим, и все тут! Они рядом, но бесконечно далеко от нас, потому что разделяющие нас плоскости непреодолимы.

- Но раз она здесь, значит...

- Да, иногда залетают. В том-то и загадка! Она говорит, что выпала к нам случайно, как из самолета. Случилась нелепая катастрофа, вот и оказалась здесь. Она ничего не рассказывает о том мире, откуда появилась, только улыбается, если спросишь: все равно, мол, не поймете. Тут какая-то тайна... и не одна. Постигнуть их нам просто не дано.

Помолчали, и то была для Размахая минута напряженного раздумья.

- Как ее зовут? – спросил он.

- Там обходятся без имен, они им не нужны. Я ж говорю: у них все иначе.

- Но ведь когда обращаешься к кому-нибудь, вот хоть бы я к тебе, надо назвать. Как же они?

- Там не говорят – там читают мысли. И когда так, то имена не нужны.

- А нам-то неудобно без имени, верно?

Актёр пожал плечами: я-то, мол, с тобой согласен, но что делать!

- Ведьма она, так и надо ее называть. Видал, какие фокусы выкидывает! Быка твоего поставила на колени. Цирк, верно? Погоди, еще увидишь. Она вообще-то старается этим особенно не злоупотреблять, а то мы с тобой и вовсе остолбенеем, верно? Ум за разум зайдет.

- А как ты с нею познакомился, Иван?

Семён опять не заметил, что назвал актёра именем солдата.

- Если это можно назвать знакомством! Ехал по плохо освещенной улице... и сбил ее... правым бампером.

- Ох, ты...

- Не заметил! Вдруг сильный удар и – смотрю, женщину отбросило от моей машины на обочину, на газон.

- В ней и так-то чуть душа держится!

- Не скажи. Если б вместо нее был ты, мы с тобой сейчас не разговаривали бы: лежал бы ты под холмиком, и травка зеленела бы, а я в местах не столь отдаленных вкалывал бы.

- А машина была вот эта?

- Нет. Эта ее, а у меня своя.

После каждого ответа актёра наступала пауза – пастух размышлял.

- В больницу сразу повез или «скорую» вызвал?

- Вызвал бы, да запретила. Так что я привез ее к себе домой, выхаживал... служу вот теперь у нее на посылках.

- Как золотая рыбка, - пробормотал Семён. – Все мы у кого-то служим. Я вот у озера.

- А что ты всё спрашиваешь? Понравилась, что ли? Брось, не бери в голову: пустое это! Ты ей не поддавайся, слышь. Мало ли что будет внушать! Она не женщина, - так, видимость одна. Да и чего хорошего! Похожа на лягушку, верно?

Семён не ответил, он смотрел на шатёр и глазам своим не верил: нарисованный рак пошевелил усами и стал передвигать ближние к нему письмена. То были головастенькие запятые парочками – хвост у каждой загнут к голове подружки, и ещё одна с хвостом длинным, изогнутым подобно лебединой шее; были скобочки, соединённые штрихом или двумя, и стрелка с поперечинкой, и просто буквы-знаки нерусские.

Нарисованный рак отпихнул от себя кружок с точкой посредине, будто мячик, пригрёб скобочку, похожую на молодой месяц, поймал неуклюжей клешней, поднёс к усатому страшному рту и схрумкал этот месяц, будто половинку баранки-сушки, даже сухой звук слышался. На этот звук актёр обернулся, поймал недоумённый и озадаченный взгляд пастуха и усмехнулся.

- Вот такая чертовщина каждый день, - шепнул Роман. – Я уж привык и ничему не удивляюсь.

А из-за куста вышла та, о которой они только что говорили, и была задумчива, даже огорчена. Семён подумал, что это она недовольна им, хозяином Царь-озера; как-никак устроил тут шум, даже скандал, драку... нехорошо, некрасиво.

- Вот, - сказала она, держа что-то на ладони, - даже камни умирают. Знали бы вы, каким он был лет двадцать назад! Соковище. А теперь мертвец, труп.

Она бросила камень в траву. Семён подобрал: да, обыкновенный булыжник величиной в два спичечных коробка. Таких много.

- Но этот был с огнём! – сказала женщина. – В нём солнце опускалось в пурпурные облака, и бирюзовое море было. И чёрный утёс, и даже чайки на фоне этого утёса. В нём хранились удивительные краски, понимаете? А теперь нет ничего. Умерло.

- Всё умирает и все умирают, - философски заметил Роман.

- Да, но смерть должна быть в свой срок, тогда всё естественно, безобидно. В противном случае – несчастье, трагедия. Этот должен был жить.

- И в чём причина его трагедии? – улыбнулся актёр. – Корова наступила на него копытом или капнула птичка?

- На землю постоянно оседает космическая пыль, она вступает в общий хоровод. Вам только кажется, что земная твердь неподвижна, - нет, это бурлящий котёл. Тут у каждой пылинки свой интерес и свой закон, каждая вступает в своё братство и ведёт свою борьбу. Камни растут, притягивая комическую пыль, а этот притягивал не всё подряд, а избирательно – такова была в нём основа. Он так и рос благородным, но некоторое время назад атмосфера стала меняться – там свои превращения – появилось слишком много омертвляющих включений. Благородные частицы из космоса, пробиваясь сквозь вашу загрязнённую атмосферу, умирали, не долетев до поверхности Земли. Каждая пылинка становилась мёртвой перед тем, как воссоединиться с камнем. В итоге в нём произошло необратимое – он тоже умер. Вот так. Я понятно объяснила?

- Более или менее, - кивнул актёр.

Сказанное о камнях кануло Семёну в душу, будто заветное признание, и он готов был остолбенеть, как давеча, но жажда услышать от этой необыкновенно женщины что-то ещё удержала его. Ему уже бесконечно нравились и ее руки, похожие на славные лягушиные лапки... весь ее светлый, неземной лик, на котором сияли страшные, прекрасные глаза. И разве не хороши были прозрачные раковинки ее ушей, что прятались в пепельных волосах? А какой у нее голос! Он не из горла, он из груди, от сути ее существа, потому так задушевен.

- Я принесу вам молока, - поспешно сказал он. – Давайте какую-нибудь посудину.

Актёр подал ему котелок, хоть и закоптелый снаружи, но чистый внутри.

Семён обомлел: это был «тот» котелок, мятый, простреленный, клёпаный, побывавший вол всех военных передрягах и сам ставший героем, наравне с Иваном... Словно током произи-

ло восхищённого телезрителя Размахая. Понёс его в обеих руках, словно посудина эта была уже полной.

Пока шёл к стаду, актёр и его подруга смотрели ему вслед.

- Ты что-то там изменнически внушал ему обо мне, - тихо сказала она и благодушно усмехнулась. – Ай-я-яй, нехорошо. Запрещённый приём.

- Я предупредил его, как мужчина мужчину, чтоб он не очень-то доверялся тебе, чтоб он учитывал власть твоего лицемерия. Я сказал, что ты и не женщина вовсе, что ты только тень, иллюзия, а вернее, непонятно что, и не из-за чего ему хлопотать, пусть не беспокоится. Мы люди земные, устроены сама знаешь как.

- Знаю. Но мне ли состязаться с тобой в лицемерии! Ведь это твоя профессия – ты актёр, а не я.

- Верно. Только у тебя другие, более сильные средства – ты ведьма, колдунья, искусительница судеб.

- Семён Степанович нравится мне. Я испытываю уважение к этому человеку.

- Но позволь спросить, чем он так тебя привлек?

- Чем? Не знаю... Впрочем, попробую сформулировать, - она задумалась на мгновение. – Он книжный человек с самым крестьянским обликом. Как этот камень: в нем угадывается внутренний свет и волшебные краски... Да-да, не улыбайся так коварно. В нем благородство и фантазия, детская наивность и способность к душевной боли там, где другие равнодушны. Он мне интересен, я беру его под свою владетельную руку. И ты мне помешать не можешь.

- Я покоряюсь, твое царское величество.

Роман картинно встал на одно колено и поцеловал подол алой-алой кофточки-распахачки.

«Книжный человек» между тем позвал корову:

- Светка! Светка!

Не потому, что это была своя собственная, он мог бы и чужую подоить – эко дело! – а потому, что у нее все-таки самое вкусное молоко, всем известно. Светка пришла к нему, он погладил ее по спине, присел сбоку на корточки, зажал котелок в коленях.

Митя посматривал вопросительно и остался в недоумении: таким взволнованным и воодушевленным своего пастуха он не видывал.

- Тебе не понять, - говорил ему Семён, и белые струи молока из-под его рук устремлялись одна за другой в котелок. –

Во-первых, ты телевизор не смотришь, а я четырнадцать вечеров подряд смотрел, как Иван воевал, как страдал в плену и в госпиталях... Как, вернувшись домой, искал свою дочку... и как жену нашел, а она, собака, уже с другим... И как он раз в пять лет бросает все и идет по дорогам, что прошел за войну...

Митя слушал внимательно, примеряя на свой ум, как домовитый мужик примеряет мудреную вещь или рассуждение к своему хозяйству.

- А подруга у него! Ну, я думаю, ты кое-что уразумел, раз на колени перед ней рухнул.

- Му, - кратко сказал Митя, будто вздохнул.

- Во какая баба! Что только не вытворяет! Не знаю, чему верить, чему нет. Я глазам своим не верю! У меня ум за разум... Ведь она читает меня, будто книжку, что ни подумаю – уж знает, мне даже страшно.

Митя отвернулся и стал щипать траву: подумаешь, мол, диво!

А звенящий отзвук котелка под ловкими руками Семёна сменился ритмическим бархатным шорохом – это пена пышно поднималась над парным молоком.

- Что тебе объяснять! – сказал пастух. – Все равно не поймешь. До тебя, Митрий, не докричишься, ты в другом измерении. Ты передо мной – совсем как я перед нею.

Пошел, неся перед собой котелок бережно, как хрустальный кубок. И оттого, что боялся расплескать, и оттого, что котелок был «тот».

Актёр встретил его взглядом испытующим, словно спросить хотел: а ты, мужик, ради кого из нас стараешься? Он принял котелок и передал женщине. Она примерилась так и этак, вернула:

- Я не умею. Давай сначала ты, Рома.

Актёр взялся за котелок сноровисто, привычно, сдул немного пену, стал пить – его подруга следила за ним с улыбкой. Потом она приняла котелок – удивительным было в эту минуту выражение ее лица! Будто она молилась.

Так хорошо было Семёну в эту минуту, что он отошел в сторонку, совершенно растроганный. Они же пили по очереди, смеялись и опять пили. Котелок опустел.

- Ещё? – спросил Семён с готовностью.

- Это опосля, - ответил важно актёр голосом Ивана.

«Опосля... Будто из телевизора!» – радостно всколыхнулся Семён.

Вот скажи ему сейчас «солдат»: прыгай, мол, Семён, в озеро... Да что там в озеро! Хоть в колодец... даже когда тот совсем без воды. Прыгнул бы!

- Я все спросить хочу, - он нерешительно потоптался, испытующе поглядывая на «Ивана».

- Ну! – подбодрил тот.

- Вот скажи: когда ты в плен попал... тебя допрашивали, измывались, истязали, ты в беспомощности слышал голос дочки своей двухлетней... Как же это могло быть? Ведь она родилась без тебя! Ты ушел на фронт, когда жена твоя была только беременна. Так?

- Верно.

- Но ты же ушел, ещё голоса ее ни разу не услышав!

Актёр оглянулся на свою «царевну-лягушку», приглашал и ее улыбнуться. Та смотрела серьезно.

- И вот она же встала перед тобой, словно наяву. И ты сразу догадался, что это твоя дочка... А самое главное: когда домой с войны вернулся – узнал ее, ту, что являлась к тебе, избитому, в бреду. Это же прям чудо какое-то! И ты ее в самом деле узнал?

Вид пастуха был простодушен донельзя. Просто сказать, до глупости.

- Семён Степаныч, - сказал актёр осторожно, - у меня нет никакой дочки.

- А как же... Ведь ее показывали в кино, я видел.

Актёр оглянулся на свою спутницу, словно спрашивая, кто, мол, кому мозги пудрит? Та серьезно и внимательно смотрела на Семёна. А тому было не до того, чтоб кого-то разыгрывать, он жаждал ответа.

- Я ведь просто играл, - напомнил актёр. – Другого человека, в иных обстоятельствах. Когда шла война, меня и на свете не было!

- Да я понимаю! – с жаром сказал Семён. – И все-таки удивительно-то как: никогда не видел, а узнал. Значит, сердце подсказало. Так?

Актёр кивнул, тоже немного недоумевая.

- И еще я хочу спросить, - продолжал Семён. – Как же ты все-таки через границу-то, а? Уж в мирное время, можно сказать, в наши дни. Ведь там вспаханная полоса, приборы ночного видения, пограничники с собаками, вышки и на них часовые... И ты все-таки перешел незамеченным. Как это тебе удалось? Расскажи.

Актёр опять некоторое время смотрел на него, соображая: как, мол, это понимать – всерьез спрашивает пастух или разыгрывает его?

- Семён Степаныч, я же... границу переходил не вправду.

- Да это я понимаю! – радостно вскинулся Размахай. – А все-таки... не шуточное дело. Ты ведь полз тогда, а двое наших пограничников прошли совсем рядом – они ж на тебя чуть не наступили оба! Лопухи...

Он засмеялся совсем по-детски и тотчас, вспомнив о недостающих зубах, пресек смех.

- Конечно, - сказал он, нахмурясь, - им с тобой не тягаться, ты ж все-таки фронтовик... И вот как это тебе удалось, а? Ох, ловкий ты мужик!

- Я границы пересек на поезде или на самолете, - объяснил Роман, как бы возвращая пастуха на исходные позиции; он не хотел попасться на розыгрыше.

- Не надо, - тихонько сказала ему подруга и тронула за локоть. – Не разочаровывай его. Семён Степаныч не любит раздвоения образа, не разделяет вымысла и жизненной правды. Я думаю, это прекрасно.

Опять она смотрела на Размахая очень ласково и улыбалась. Как славно, как чарующе умела она улыбаться! То улыбка не от желания понравиться кому-то, а лишь спутница мыслей, будто царевна-лягушка удивлялась тому, что говорила. И при всем при этом так нравилась Семёну, хоть, может быть, и не стремилась к тому. Ведь всего только улыбка – много ли!

13.

Пастух был полон радости от этой встречи – просто невтерпеж. Восторг владел душой Семёна Размахаева!

В этом воодушевленном состоянии он обходил свое стадо, уже не интересуясь, приезжают ли на озеро туристы и как они себя при этом ведут. Он разговаривал с Митей, потому что молчать в таком состоянии было просто непосильно, и всё оглядывался в сторону оранжевой палатки с нарисованным на ней и все же ползающим раком: не позовут ли, не нужна ли его помощь?

«Эх, надоем я им, - страдал пастух. – Люди отдохнуть приехали, а я к ним привязываюсь. Нехорошо...»

- На домишке ихнем, думаешь, что нарисовано? – спрашивал он флегматичного Митю. – Не просто так, не от глупости, а со смыслом: это обозначения планет и созвездий. Например, кружок и у него крестик внизу – это Венера, пастушеская звезда. Моя, значит. Ее можно видеть при заходе солнца или при восходе. А вот кружок с рожками обозначает созвездие Быка... Да-да, Митрий, это твое созвездие на небе. Я тебе и его покажу, если хочешь... Сейчас-то не видно, а вот ночью.

Разговаривая этак с Митей, он все время думал не о знаках на палатке и не о созвездиях на небе, нет. А вот как там Роман, ловится ли у него что-нибудь на удочку? И, самое главное, чем занята эта женщина?... Неодолимое желание быть с нею рядом боролось в нем со смущением: не помешать бы!

Выйдя к озеру в некотором отдалении от палатки, Семён вдруг увидел ее: «царевна-лягушка» сидела в одиночестве на берегу и тихо, неудержимо смеялась. Семён замер и уже хотел было отступить назад, но она оглянулась и заговорила с ним так, словно они только что беседовали, и она продолжала прерванный разговор.

- Представь себе: стайка плотвы подошла к щуке с хвоста и очень отважно теревит: то ли принимает хвост за водоросли, то ли нарочно дразнит?

- Где это?

- Там, - она показала рукой, детски улыбаясь. – В той осоке под ивой. А щука никак не поймет... Очень смешно.

Она опять засмеялась, и Семён тоже. Он почувствовал необыкновенное облегчение и... смело сел рядом.

Совершенно собой не владея, весь во власти неземного чувства, Семён пустился рассказывать про своё озеро, подчиняясь неудержимой потребности; он спешил поделиться самым дорогим. Начал с того, как из его колодца уходит на зиму вода... как намерзает поэтажно лед... как остаются на дне рыбные ямы, исходящие паром... и о соме...

Женщина внимала Семёну, и в глазах у нее было столько неподдельного интереса, восторга, лукавства, удивления, смеха!.. Никогда еще за всю сорокалетнюю жизнь не было у него такой слушательницы, такой собеседницы!

- Что это! – вдруг воскликнула она, остановив его поднятую в жесте руку.

Повернула ее так, чтоб видеть россыпь из семи родинок ниже локтя.

- Что это значит? – спросила она и, кажется, побледнела. – Ведь это же Большая Медведица!

Да нет, не могла она побледнеть, а просто как бы встревожилась.

Семён сказал после паузы:

- Ну, не сам же я этот знак поставил! Наверно, кому-то нужно было.

- У меня тот же самый знак...

Она подняла крылышко-рукав – у нее на плече семь родинок тоже образовали ковшик, только он был не так глубокий, как на звездной карте или на руке Размахая; водицы таким ковшиком много не зачерпнешь – он мельче, и ручка словно бы сломана – крайняя родинка ушла вниз.

- Непохоже, - усомнился Семён. – Совсем другое расположение.

- Это созвездие Большой Медведицы, каким оно будет видеться с Земли через тысячи лет.

То была минута прекрасного единения между ними.

- Мы брат и сестра, - сказала она. – Ты мой брат.

А Семён ничего не смог сказать.

В эту минуту в нём произошло великое озарение: если раньше душа его просто замерла, как замирает природа перед наступлением дня; если потом он уже сознавал, что начинается волшебный рассвет, но не мог понять, зачем это, к чему это, то теперь вот происшедшее в нём самом можно было уподобить восходу солнца. Всё в Семёне Размахее осветилось новым светом, границы души его раздвинулись, вмещая в себя весь мир, запели птицы...

Солнце взошло! Боже мой, как это хорошо...

Солнце взошло! Как счастливо жить на свете...

Солнце взошло!

Или это можно сравнить с наступлением весны: теплынь вокруг объяла всё, хлынули вешние воды, жаворонки запели, распустились цветы и камни...

Да ни с чем не надо сравнивать! Это прекрасно настолько, что ни с чем не сравнимо.

Это была просто любовью

- Квод эрат дэмонстрандум, - невнятно сказала она.

- Что? – не понял Семён.

- Прости меня, я нечаянно... Приплыло откуда-то выражение. Оно означает: что и требовалось доказать. Мы брат и сестра, квод эрат дэмонстрандум.

Он повторил эти слова, как ребёнок, который учится говорить.

И тут тяжёлая рука опустилась на плечо Размахая:

- А ну, мужик, - сказал суровый голос Романа, - давай отойдём.

- Чего это? – не понял тот.

- Давай отойдём, говорю! Потолковать надо.

Роман был прямо-таки неузнаваем.

Лицо любимой женщины показалось Семёну встревоженным.

- Пойдём-пойдём... Не бойся, живой останешься, за остальное не ручаюсь.

Пастух разом понял всё: актёр приревновал его. Ха! Его, Семёна, приревновал! К этой удивительной, к этой непостижимой женщине. И кто!? Красавец, в которого влюбились, небось, тысячи баб и девок по всей стране.

- Что ж, это можно, - Семён, вставая, почувствовал в себе молодую силу.

- Мы на пару минут, - заверил свою подругу актёр: по-видимому, она хотела остановить его.

Отошли за ветлу.

- Ты как-то странно себя ведёшь, мужик, - напористо сказал актёр, играя желваками на скулах.

Сейчас он совсем не походил на того Ивана, который был прежде всего воином, как бы ни складывались обстоятельства. Сейчас он походил... на Митю, ревниво оберегающего Милашку: тот же тяжёлый взгляд, та же готовая сокрушить глыба мускулов. Иван не стал бы так... тот как-то иначе поступил бы, если б рядом с его любимой появился кто-то, с кем ей было бы интереснее, чем с ним.

- То есть? – голос Семёна стал жестким.

- Ты что, не понял? Это моя женщина. Моя, понимаешь?

- Ну, такое не нам с тобой решать, - Размахай молодецки пошевелил плечами. – Пусть она сама...

- Я никому не уступлю и готов за нее умереть. Ты понял?

Умереть! Ничего себе... Значит, уж в крайней степени человек, долго терпел. А Семёну-то казалось, что он просто удит рыбу.

- У тебя есть ружье? – спросило Роман и, кажется, скрипнул зубами.

- Нету.

- Найди. Есть же у кого-нибудь в деревне двухстволка! Попроси, тебе дадут на время.

- Зачем?

- А чтоб всё было по-честному. Не на кулаках же нам: я сильнее тебя. А вот с ружьями в тот лесок, ты с одного края. Я с другого – и кто кого положит, понял? Или ты меня, или я тебя. Пусть судьба рассудит, кому женщина будет принадлежать.

- Она не может никому принадлежать, - тотчас отверг Размахай. – Она сама по себе.

- Но при ком-то должна же быть!

- Вот пусть и решает.

- Позволь-позволь! Ну и порядки! – возмутился Роман. – У вас в деревне, я гляжу, многоженство: своя баба есть, так ему мало, ещё и на чужую глаз кладёт. Насчёт особое судьбы намекает, красивые речи говорит, и всё затем, чтоб впечатленьице произвести. Ну, ты и гусь!

«Да он совсем дурак! Как же так можно!»

Семён закипел, и будь сейчас два ружья, ни минуты не промедлил бы, пошёл бы с этим вахлаком в лесок, и там уж кто кого, как судьба рассудит.

- Будет вам, - сказала та, из-за которой они спорили, подходя к ним. – Как дети: нашли чем развлекаться! И очень, между прочим, глупо развлекаетесь!

- Ну вот, ведьмочка, - сказал актёр огорчённо, - ты помешала нам. У нас получалось славное драматическое действие. Что бы тебе постоять в сторонке! Не утерпела, видите ли. Как же так можно! Ты всё испортила...

Она протягивала им камешек величиной с яйцо, но не круглый, угловатый; он был удивителен – с искрами, и эти искры создавали внутри какое-то текучее, неверное изображение. Вроде бы чье-то лицо появлялось и пропадало, как в телевизоре.

- А утром попался голубой топазик и рядом с ним цвели опять-таки безымянные травки. Почему – вот странности! – рядом с камнем вырастает свой цветок? Что, разве у вас тут камни дружат с цветами? Это закономерность или случайность?

Но Роман был полон только что происходившим. Он так вошёл в роль, так разгорячился, будто при настоящей драке. Что касается Размахая, то он и вовсе... Так что они не ответили ей.

- Семён Степаныч, между прочим, мог бы прекрасно сыграть в кино, - сказал актёр. – У меня, знаешь, ведьмочка, прямо-таки озноб по коже, когда он... Прямо-таки бешеный темперамент! У него явное драматическое дарование, уверяю тебя.

Семён, медленно остывая, отступил; признаться, он был разочарован неожиданной развязкой. И даже более того: почув-

ствовал себя одураченным. Теперь главное: как бы удалиться незаметно и немного отдышаться, собраться с мыслями.

- Послушай, Роман Иваныч, а если б и в самом деле вы из-за меня или из-за какой-нибудь женщины... то разрешили бы спор именно таким образом? На кулаках?

- Да, моя умница! Только так. Это по-мужски. Победа должна достигаться самым простым путём. По-твоему, неразумно?

- И вы, Семён Степаныч, так считаете.

Размахай смутился и не ответил.

На полдни стадо он поставил возле деревни и отправился домой поесть овсяного киселька, хотя бы и подгорелого, вчерашнего. У него только запах будет чуть-чуть с дымком, с горечью, а на вкус-то так же хорош.

«Как меня разыграли! – качал головой Семён, шагая к дому. – Я-то, дурак, всерьёз».

Вообще-то было немного обидно, а как было не простить актёру его шутки!

«Такая уж у него профессия, - оправдывал Романа пастух. – Он без этого не может... Ну и не велик я барин! Шутки надо понимать».

Таким образом он понял шутку-розыгрыш, а поняв, простил. После чего и вовсе забыл свою обиду, словно ее и не было.

Дома у него хозяйничала Маня: она распахнула окна и двери, мыла и чистила, одновременно с этим топила печь, что-то там у нее варилось.

Первой мыслью Семёна было: не отнести ли новым знакомым чугунок со щами? Чего они там с голоду маются! Сидят, небось, на чаю с бутербродами. А тут говяжья мостолыга вворочена в чугунок стараниями Мани! Глянешь – урчать хочется, как волку над свежатиной. И неплохо бы отнести им и чугунок с тушеной картошкой – картошка опять же с мясом – дух такой, что хоть танцуй с радости!

«Ну уж! Больно нужны им щи да картошка, - одёрнул себя Семён. – Сиди уж, деревня! Да они, небось, такого с собой привезли, чего ты и не едал никогда! Обрадуешь их щами с картошкой, как же! Небось, в ресторанах сиживали не раз, жареных медуз ели в горчичном соусе».

Этак ядовито о себе самом подумал и даже головой покрутил: эх, чучело ты гороховое! Но подумав так, тотчас же

себя и оправдал: в Москве свои деликатесы, а в Архиполовке свои. И если разобраться, здешние ничуть не хуже столичных.

«А вечером наверняка будут пироги... и что-нибудь еще...»

Тут Семёна осенила идея, от которой он и есть не мог, а отдав Мане необходимые распоряжения, заспешил назад, к оранжевой палатке.

- Тут, это самое, вот какое дело: хочу пригласить вас в гости, - сказал он с отвагой в голосе. – Нынче вечером приходите, а? Не ради чего-либо, а просто посидим, поговорим. У меня овсяные блины будут – вы таких никогда не едали. Ради интересу, а? Вам таких ни в одном ресторане не подадут.

Сказал и со страхом смотрел на них: вдруг откажутся? Что им его угощение! Что им его беседа! Возомнил о себе.

«Вон Касьяшка знает свой шесток, и ты знай», - это запаниковавший Семён себя успел упрекнуть. А актёр переглянулся со своей подругой и отозвался простецки:

- Семён Степаныч, в гости на блины – это не бревна грузить, мы согласны. Верно, ведьмочка?

Та молчала. Кстати сказать, она была уже в новом наряде: в голубом платье с белыми звездами, длинном, до пят – сидела в соломенном креслице полулежа; может, и не соломенное то креслице, но похоже. Актёр возился с рыболовной снастью.

- Придёте? – с замиранием сердца спросил у нее Семён.

- Конечно, - ответила она и улыбнулась, поняв его страх.

- Вот это самое... спасибо. У меня там нынче хозяйка, она уже готовится. Я сказал, что будут гости...

- Непоследовательно и как-то даже неприципиально ведешь себя, Семён Степаныч, - добродушно укорил Роман, откусывая конец лески. – Вместо того чтоб вытеснить с берега, как вчера из своего дома, ты за нами ухаживаешь, молоком поишь и вот даже в гости зовешь. Как это понимать? Не от слабости ли характера, а?

- Вы меня за вчерашнее простите, - жарко повинился Размахай. – Не разобравшись, что за люди, я вот так вот... У меня к вам претензий нет: вы и ходите-то, травку не приминая, уважительно. Если б все были, как вы, разве я возражал бы! Да ради бога, живите тут хоть круглый год, дышите воздухом, рыбку удочками таскайте – на всех хватит! Но люди всякие попадаются, многие обижают озеро... я и о вас плохо подумал. Дурак, чего говорить!

- Не, мы хорошие! – бодро подхватил Роман. – Лучше-то нас и нет никого на свете.

Подруга только головой покачала на его самохвальство. Он даже не обратил на это внимания.

- Но вы тоже меня поймите, - продолжал Семён. – Озеро – оно как яблоня при дороге. Никто ему не добавит ничего, но всякий норовит себе урвать. Все обижают, и свои, и чужие. Признаться, я никому не был рад. А что делать, чтоб сберечь? Ну, вот вы посоветуйте, как нам местным быть. Жалобы, что ли, в Москву писать? Не поможет. Сейчас, оглянитесь вокруг, вся земля стонет. Во всех газетах в колокола бьют: там кедрачи сводят, там реку отравили, там в озеро нефть спустили. Рыба мрет, зверье мрет, птицы мрут – даже мелкой живности спасенья нету: жукам, паукам и прочим. Надо же как-то защищаться! Я маленький человек, но что же мне терпеть? Ведь этак-то мне самому на горло наступают! Я так думаю: каждый должен в это великое дело свою кроху вложить, иначе пропадем! Но знать бы только, что делать, как поступать.

- Семён Степаныч, испокон веку свою родную землю обороняли, не щадя сил, - заявил актёр торжественно. - Я целиком и полностью одобряю твои любые действия по охране озера, вплоть до рукопашной.

Неплохо сказал, но то не нравилось Семёну, что он все время этак шутя говорил, не всерьез. Всё у него – игра: рыбу ли ловил, молоко ли пил, беседовал ли.

А женщина больше отмалчивалась.

- А по-вашему как? – спросил Размахай напрямик.

И уж так было отрадно ему видеть ее: сквозь платье ножки худенькие проступают, головка на тонкой шее, рука поднялась и опустилась на подлокотник невесомо – всё было любо Размахаеву Семёну! Смущали и повергали в остолбенение только глаза ее – они излучали силу и твердость, в них виден крепкий характер и ум, способный царствовать и повелевать.

- Не знаю, - произнесла царевна-лягушка. – Я не привыкла к такому и просто не в состоянии все осмыслить. – Не нахожу этому разумного объяснения.

- У вас там все иначе? – спросил Семён осторожно.

- Да.

- Но у вас есть что беречь?

- Есть. Мы только тем и живы, что у нас есть что беречь. Поэтому я и удивляюсь, глядя на вас, на все это устройство вашей жизни. Нелепостей много...

- В чем же наша вина или беда?

- Думаю, вот в чем... в силу каких-то причин, боюсь, что они глубоки, вы не чувствуете друг друга. Вот хоть бы вы, Семён

Степаныч, и Роман. Но я имею в виду не вас двоих, а всех здесь живущих. У вас отсутствуют душевные связи, нет средств ко взаимному пониманию, между вами пропасть или стена. Не чувствуете, не понимаете, превратно истолковываете, и в вас слишком сильные злые инстинкты. Вы отчуждены друг от друга. Я не знаю, как вам быть... Я затрудняюсь сказать.

Она порывисто встала, явно волнуясь, прошлась по траве – актёр обеспокоенно следил за ней. Эта вспышка ее волнения явно насторожила его.

- В одном только уверена, - сказала она, как заклинание, с непонятной страстью, - надо изо всех сил трудиться и очень любить друг друга, тогда наступит желанный мир, то есть мир, в котором все будет жить полнокровно: и человек в труде, и природа в своем творчестве.

Размахай выслушал эту речь и сказал горестно:

- Любить... Вы поговорите хотя бы с Валерой Сторожковым, он кромсает поля, дороги, опушки; он всегда готов повалить дерево, разорить гнездо или родник, убить зверя, птицу, и его ничем не проймешь. Вы не видели, что остается на этих берегах после туристов – хочется дырявить в руки взять и лупить крест-накрест и правых, и виноватых. Какие слова нужны, чтоб их пронять? Нету у меня таких слов. Вы не знаете, что в голове у Сверкалова – он в любой день может подогнать технику, прорыть канаву и выпустить воду из озера – это называется мелиорацией.

- Увы, таких людей много у вас, - согласилась она. – И что самое плохое – именно они наступают, у них в руках инициатива, именно они забирают власть. Если такая тенденция сохранится, цивилизация обречена на самоуничтожение.

- Ну, этого мы не допустим! – бодро заявил Роман и закинул крючок с наживкой в озеро с таким видом, словно он этим самым что-то решал. – Как хотите, а я оптимист. НЕ сокрушай сердца, умница моя. И ты, Семён Степаныч, не кручинься. Утро вечера мудренее! Мы победим!..

- Если овсяных блинов поедим, - буркнул Размахай.

- О! – воскликнул актёр, обрадовавшись, что с серьезного разговора вроде бы как свернули к шутке. – Я всегда говорил, что все сельские пастухи – поэты. Сознайся, Семён, ведь ты пишешь стихи.

- Я? Нет.

- По-моему, иначе быть не может. Он что-то скрывает, верно, ведьмочка?

Та опять села в свое креслице и со всепонимающей своей улыбкой оглянулась на пастуха.

- Я не пишу, - растерянно признался он. – Они сами сочиняются. Приплывают откуда-то, а потом я их забываю.

- Ах, вот в чем дело! «Не пишу» в смысле «не записываю», а сочинять – он тут ни при чем, они сами собой... Прочитай что-нибудь, Семён Степаныч, а?

- А чего не прочитать! Можно, - согласился тот и усмехнулся. – Вот, пожалуйста...

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается...

- Э-э, нет, - запротестовал актёр. – Это мы знаем. Давай свое, свое.

Но Семён вместе с чтением стихов уже слегка затуманился ликом, что ясно указывало на то, что он сейчас впадает в свойственное ему ошеломление. Он продолжал:

- Люблю дорожкую лесною,

Не зная сам куда брести;

Двойной глубокой колею

Идешь – и нет конца пути...

- Не трогай его, - остановила женщина актёра. – Пусть он читает, что хочет. Он это очень славно...

Кругом пестреет лес зеленый;

Уже румянит осень клены.

А ельник зелен и тенист;

Осинник желтый бьет тревогу;

Осыпался с березы лист.

И как ковер, устлал дорогу...

- Но я хочу услышать его собственные стихи, - упрямылся актёр. – Я уверен, что они не хуже.

- Не перебивай его...

- А если хотите моих, - сказал Семён просто, - то вот как раз к нашему разговору...

Пропадает чистая вода.

Все грязней, все задымленней воздух...

Может, повернуть еще не поздно?

Мы идем куда-то не туда.

Погибают птицы и цветы,

Рыбы мрут, редет мир растений –

Растворились их следы и тени

Среди нашей подлой суеты...

Он замолчал.

- Все? – спросил Роман. – Или забыл?

- Может, завтра сочинятся другие, а эти уплывут, забуду их.

- Так записывай! Зачем же человечество придумало письменность!

- Да ну... Зачем?

- А затем, что вот я, к примеру, не умею сочинять стихов, но я тоже хочу говорить стихами, и кричать, и плакать стихами... Они мне нужны.

Размахай усмехнулся, покачал головой и рукой махнул:

- Да ну!.. Полова.

Актёр не понял, и Семён пояснил:

- Молотьба соломы... Пустое дело!

- погоди. Ты не прав.

- Зачем другие стихи, когда имеются вот эти?..

Есть в осени первоначальной,

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

14.

На закате солнца, собравшись гнать стадо в деревню, он напомнил своим новым друзьям о том, что приглашает их в гости, что уже пора, мол. И опять они обещали: придём, придём. Но обещали как-то легкомысленно, с улыбками, так что у него сомнение закралось: может, шутят так, лишь бы отвязаться от него?

Придя домой, Маню он совсем затуркал: и одета не в то, и прическа не та, да и поумерила бы свой громкий голос – гости, мол, придут непростые, сама, мол, удивится, когда увидит. Маня же его суету и беспокойство воспринимала с улыбкой, тем более, что овсяные блины удалась у нее на славу; чего-чего, а похвалы за блины хозяйке обеспечены, чего ж волноваться!

Не раз и не два выходил Семён в наступающих сумерках из дому, в отсвете вечерней зари видел на противоположном берегу оранжевую палатку и неторопливодвигающиеся возле нее фигурки: не забыли ли они, что их ждут в гости? Щемящеласковая музыка плыла оттуда по воде – под нее хотелось грустить и плакать... думалось светло, любовно; и конечно, о тех, кого он ждал.

Что их сдружило, этих двух людей: солдата Ивана и... какую-то странную неземную женщину?

«Да что ты всё время путаешь! – сердился на самого себя Семён. – Ведь он же не Иван, он только изображал его в кино. На самом-то деле это ж разные люди. Поставить рядом – ничего похожего. Даже разговориться меж собой не смогли бы: Иван-то молчун, а этот... очень развитый мужик. Небось, все страны объехал. Так-то оно так, но... солдат больше повидал, напереживался, настрадался. Как же он мог с этой женщиной сойтись?.. Ну, опять я путаю».

Семён уже видел, как идут неподалёку два человека – Иван в мешковатом, истрёпанном обмундировании, и Роман в одежде так ладно, так хорошо пригнанной к его фигуре. У одного лицо кирпичного цвета, изуродовано шрамом, у другого молодое, благородное. Пожалуй, внешность у актёра более соответствовала представлению о человеке храбром и боевом, чем у солдата Ивана, прошедшего всю войну и заслужившего столько орденов.

Они шли рядом и молчали. Им не о чём было говорить! Солдат оглядывался на актёра отчуждённо, даже с некоторым пренебрежением, а актёр смотрел на солдата с любопытством, и только. Душевной связи не было между ними. Да, Это так, но почему?

«А потому, что права ведьмочка-царевна: непохожи».

Но и сама-то она с актёром – такие разные! Что же их сдружило?

«А то, что мужик он что надо: красивый, статный... Да ведь детей всё равно заводить не станут: у них другие отношения. Она совсем не годится для обыкновенного бабьего дела – рожать детей... Наверно. они там разводятся в пробирке. Значит, он у нее просто на посылках, вот и всё».

Семён стоял на берегу, а за спиной у него осторожно профырчал «каблучок», хлопнула дверца, и, минуто спустя, вместо желанных гостей подошёл гость нежданный – Витька Сверкалов.

- Здорово, Семён Степаныч! Всё любишь на озеро?

- Ну!

Неприветливый тон Размахая не смутил председателя. Он грузно опустился на траву, свесил ноги по обрыву, признался:

- Устал, будто весь день за стадом бегал... Посидеть некогда. А что, смотри-ка, в самом деле тут красиво... Озеро-то – как зеркало! Все в нем отражается, весь звездный мир и закат.

На закате еще сияла немигающим оком пастушеская звезда. И она же, вернее ее отражение, чуть вздрагивала в воде у берега.

- Вот именно – зеркало, - согласился Семён. – Что, небось стыдно в него заглядывать?

- Почему это?

- Да ведь ты грозишься его осушить.

- В будущей пятилетке, - то ли всерьез, то ли в шутку сказал Сверкалов.

И Размахай, что называется, завелся с пол-оборота:

- Да как же ты, гад, можешь так плановать?! Это ж не просто озеро, а совесть наша. Пока оно есть, до тех пор и совесть у нас, у тебя прежде всего. А погубишь – что в тебе останется человеческого?..

- Сёма, только твоей философии мне и не хватало! Будь ты нормальным человеком, не теряй под ногами реальной почвы и рассуждай, как настоящий хозяин.

- Это ты про что?

- Сёма, в твоём Царь-озере сапропеля на дне – слой в три-четыре метра. Представь себе, сколько это ценных удобрений в переводе на тонны. А теперь пересчитай на зерно, к примеру, на овес... или на молоко. Пересчитаешь – получается ровно столько молока, сколько воды в Царь-озере. Молочные реки и кисельные берега! Уразумел? Столько можно взять из него, а оно просто так лежит, можно сказать, валяется. Бесхозяйственность это, и больше ничего.

Вот тут весь Сверкалов: он произведет очень правильный расчет, выстроит мудрый план – а планы у него всегда наполеонские! – и приступит к делу; загубит и озеро, и поля, не получит никакой прибавки к урожаю, а скорее напротив, при этом будет рассуждать очень солидно насчет гражданского долга, всеобщей пользы, мирового прогресса...

И вот что примечательно: по всей земле живут такие Сверкаловы – в общем-то умные и вполне добропорядочные люди, с женами и детьми, отнюдь не злодеи. Дружья и таких любят, соседи даже и уважают. Это они отгородили залив у Каспийского моря и погубили, а теперь отгораживают залив у Балтийского и тоже погубят; это они понастроили плотин на Волге, целлюлозных комбинатов на Байкале, атомных электростанций в самых населенных районах страны; это они построили Байкало-Амурскую магистраль, которая никому не нужна оказалась...

- И чего я с тобой валандаюсь, - в раздумье сказал Сверкалов. – Мне б плюнуть да отвернуться, но я, добрый человек,

езжу вот, убеждаю, уговариваю. Что я ни скажу – ты все поперёк. Что я ни сделаю – тебе все не так. А я ведь не столько о себе пекусь, сколько о тебе. Ведь мы с тобой друзья, а? Или ты меня за друга уже не считаешь?

Откуда берутся Сверкаловы? Кто их родит? Какая земля их вскармливает? Уничтожить одного – глядь, родилось еще десять. Значит, они не причина, они сама болезнь. А надо уничтожать причины, тогда не будет болезни. Так откуда же они берутся-то?

А вот откуда: не уроды это, а калеки. Родились-то нормальными, но потом их покалечили... может, подобно тому, как сам Семён сегодня обидел Ванечку. И вырастет из парнишки осквернитель природы, еще один Сверкалов.

«На мне вина, - покаянно думал Семён. – Я положил начало».

- Знаешь, когда наша дружба трещину дала, Виктор Петрович? Ты, может, удивишься, если я скажу.

- Ну-ка, удиви.

- Однажды, в шестом классе, что ли, мы с тобой взяли по дрыну и пошли вокруг озера. Как увидим в заводи лягушку – тресь! Хлесь! Она вверх брюхом, а нам, дуракам, любо. Помнишь?

- Ну, предположим. Хотя что-то не припоминаю.

- А меня до сих пор совесть мучит. Как это мы, а? Два таких лба – ходили и лупили лягушек. За что? Почему? Из какого расчета? И яростнее всего тех, что по две, сцепившись, сидели. У них любовь, самое счастье, а у нас соревнование, мать твою так, кто больше перебьет... У-у, собаки!

- Ну, Сем, мало ли что было! Нашел, что вспомнить! Пацанами были, что с нас, дураков, спрашивать!

- Счет, между прочим, шел на сотни. Только подумай! На сотни... Волна качала берега.

Семён впервые сообразил, что в число этих сотен могла попасть та, что приплыла, когда он мыл Володьку... такая золотая, что он принял ее за рыбку из сказки. Размахая не смутила разница во времени – могла, могла она жить тогда, в детстве Семёна, та лягушечка, так умно, внимательно посмотревшая на него уже взрослого, по-отцовски мечтающего о сыне.

- Ты тогда отличился, Витюша: вдвое против моего набил. И в другие дни я видел мертвых лягушек – это ты уж без меня ходил и лупил. Удовольствие получал!

- Ну и что? – Сверкалов покосился насмешливо. – Их меньше теперь стало?

- Не меньше, а...

- А если б я был, к примеру, аистом или цаплей и питался ими? Тоже зло, жестокость, верно? Но так уж устроена жизнь! Значит, надо и птиц клясть? А они, между прочим, жить хотят, то есть питаться им чем-то надо, как и нам с тобой. Такой уж круговорот еды в природе – кто кого.

- Да не в этом дело! Зачем мы зло в себе холили, лелеяли? Зачем? Мало семечко, а из него, случается, такая сторосина вырастает! Но кто виноват? – вот в чём вопрос. С кого спрашивать за это? Ведь должен быть спрос, и должен быть ответ.

Сверкалов не понял, что там Размахай бормочет, отмахнулся:

- Плюнуть и забыть. Не стоит разговору.

- А я до сих пор помню. Надо же – за что мы их так? На мне вина есть, я ее признаю. А на тебе, вишь ты, нет ее, раз не признаешь. Так? Не в этом ли корень зла, а?

- Сём, не толки воду в ступе, не городи языком огород – пустое дело! Или, как ты выражаешься, полова! Я к тебе, кстати, сказать, с делом пришёл... Вот, думаю, коров архиполовских надо на зиму переселить в Вяхирево. Двор тут старенький, значит, назад они будущей весной уж не вернуться. Переедут и доярки... Кто останется? Безногий Осип Кострикин да ты, да ветхая старушка Вера Антоновна. Что вы тут делать будете, а?

- Опять надумал неперспективные деревни сселять в Вяхирево? Так время, вроде, не то.

- Да живите на здоровье тут, мне-то что! О тебе вот забочусь: к какому делу тебя прислонить.

- Была бы шея, а хомут найдётся.

- Например?

- Буду ходить к вам в Вяхирево. Авось без работу не останусь. На пилораму, например, пойду.

- Каждый день пяти километров туда, пять обратно?

- А почему бы и нет? Я ходить привычный.

- Не лучше ли поближе перебраться, а? С жильём что-нибудь придумаем. Я с Маней Осоргиной говорил, она готова тебя в квартиранты взять...

Сверкалов засмеялся, собака.

- Я от озера никуда, - твёрдо сказал Семён, - до самой своей смерти. И даже когда помру – буду приходить вон на этот островок – там камень есть, ты знаешь, как раз сидеть удобно – сяду стеречь.

- Ну, увидишь, что кто-то рыбу глушит или отработанное масло в воду слил. Что ты сделаешь с того-то света?

- Да уж я придумаю чего! Каждому гаду, который тут напакостит, устрою так, чтоб жизни был не рад.

Сверкалов опять полнокровно засмеялся. Хотя что тут смешного? Ему же совершенно серьезно сказано.

- Ладно, так и запишем, - кивнул Сверкалов благодушно.

- Но вообще-то у меня к тебе, Виктор Петрович, тоже есть разговор.

- Какой?

- А такой, как у тебя с Курицыным Фёдором из Лопарёва в прошлом году был и с глинниковскими нынешней весной.

- А-а... Хочешь попытать счастья в частном предпринимательстве! Это, Сёма, большой разговор. Я к нему не готов. У Фёдора хорошо получается, а в Глинниках не очень: двое бычком пало.

- ну, мне ни лопарёвские, ни глинниковские не указ. Если я за откорм возьмусь – никому со мной не тягаться.

- Не готов я к этому разговору, Сёма.

- Так давай готовиться.

- Давай.

Ну, слава Богу, хоть тут на дыбы не встал председатель.

- Только... сомневаюсь я в тебе, - добавил вдруг Сверкалов.

- Чего это?

- Несерьёзный ты человек.. Как тебе доверять?

Размахай нахмурился:

- А как доверял до сих пор?

- Скрепя сердце.

Ну, не собака ли, а? Не собака ли этот Сверкалов?

Видно было, что Семён хотел что-то сказать, но сдержался.

Во все время разговора он ревниво ждал, что вот-вот покажутся его гости, а тут Сверкалов, придется их знакомить да и Витьку заодно приглашать к себе... разговор выйдет не тот. Хотя неплохо бы и похвастать: вот, мол, Размахай и такой, и сякой, а какие гости почтили его!

Кто не мечтал видеть у себя дома Ивана? Да если б он пришел к Сверкалову, председатель на другой же день раззвонил бы по всему району, кто у него был! Но ведь Иван... то есть Роман, конечно... придет не к кому-нибудь, а к нему, Размахаеву Семёну, архиполовскому пастуху, которому, видите ли, не доверяет председатель разваленного колхоза.

Сверкалов встал, отряхнул брюки, сказал на прощанье:

- Что ж, вообще-то тебя понять можно... отчасти. Хорошо тут! Так ты говоришь, эта лужа и есть совесть наша? Нет, не серьезный ты человек, Семён. Занятный, но не серьезный. Сколько ты хотел бы взять бычков на откорм? Сотню? Как я тебе их доверю?.. Ну, ладно, время покажет.

И уже садясь в машину, сказал:

- А у тебя тут, гляди-ка, уточки есть. Слышишь, побрякивают?..

15.

Забота снедала Семёна: кажется, гости из-за озера не собирались к нему. Их палаточка по-прежнему светилась оранжевым огоньком – чем это они там освещаются? – и тени неторопливо двигались возле нее. Он побывал дома – как там у Мани? – и опять вышел на крыльцо: ласковая музыка плыла и плыла над водой с той стороны озера. Да еще поздняя кукушечка куковала, на ночь глядя.

Вдруг машина, похожая на божью коровку, совсем неподалёку выбралась из воды на берег, отряхнулась, прибавила ходу и – замерла у Размахаяева крыльца. Открыв ее дверцы с двух сторон, будто крылышки, вышли Роман и его подруга.

Семён сбежал по ступенькам им навстречу, от радости и говорить не мог. Даже дивиться не успел: как это они приплыли? или проехали по дну?

- Блины, небось, остыли? – осведомился актёр.

- А их можно и холодными, - утешил его Семён. – Может, даже и вкуснее.

- Ну, веди. А то я страсть как проголодался, браток.

Это он сказал голосом солдата Ивана.

Гости вошли в дом вежливо, с хозяйкой поздоровались церемонно, уважительно. Семён засуетился их усаживать, а Маня стояла посреди избы, будто громом поражённая явлением таких гостей. На женщину она почти не обращала внимания, увидев воочию телевизионного героя Ивана – будто он вышагнул сюда из телевизора, живой, красивый, с тем самым, уже знакомым голосом. Семён в суете своей незаметно пихнул Маню в кухню и украдкой показал кулак: не из ревности, разумеется, просто чтоб в себя скорей пришла и не забывала своих главных обязанностей.

Телевизор был включён, и дикторша под взглядом гостьи друг понесла такую осолесицу! Будто от Африки откололся кусок величиной со Швейцарию и его прибило к Антарктиде; будто над Бразилией и Венесуэлой в озоновом слое атмосферы образовалась дыра – солнечной радиацией выжгло восемнадцать городов и бесчисленное количество мелких населённых пунктов; будто пассажирский авиалайнер накололся брюхом на Эйфелеву башню, как жук на булавку, и никак парижане его оттуда не снимут; будто американский авианосец в тропическом тумане налетел на острове Калимантан и развалил его надвое...

- Пересядь, - попросил актёр свою подругу. – Не смущай ее, а то она такого наговорит!

И та села к телевизору спиной, после чего международные события обрели нормальный ход.

Кошка Барыня, царапая наличник, заглянула с улицы в избу, фыркнула и исчезла.

Маня принесла большую стопку овсяных блинов. Они возвышались горой, а поскольку каждый был не толще бумажного листа, то, значит, напечено их было сотни полторы, не меньше. Принесла и маслёнку, каковой служила обыкновенная чайная чашка, только без ручки, она некогда откололась.

Актёр потянул носом:

- Боже мой! Откуда? Это ж льняное масло! Если б я не был представителем моей славной профессии, я б никогда не узнал этого запаха: моё поколение выросло без льняного масла, не знает, что это такое. Но меня... меня угощали... в той сцене в госпитале. Я потребовал именно ломоть чёрного ржаного хлеба с льняным маслом и посоля, как было в сценарии.

Маня польщённо рдела:

- Ешьте, ешьте.

Она вынула из кармана передника свежее гусиное пёрышко, макнула его в фарфоровую посудину, помазала верхний блин:

- Не стесняйтесь, угощайтесь.

Актёр поднял маслёнку к свету, любуясь янтарной лужицей в ней.

- Откуда, Маня? У вас есть подпольная маслобойня?

Та с самым серьёзным видом сказала, что племянница вышла замуж за военного, а он ракетной установкой командует, ему в качестве топлива для ракет дают льняное масло – вот маленько отлили...

- Ну, это деликатес! – воскликнул актёр. – Только вот ракета теперь не долетит до цели места три.

- Ее вообще не станут запускать, - заметила тихо его подруга.

- Дай-то бог!... Мы вообще-то мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Благодаря этому мир и благоденствие царят у нас в отечестве. Именно благодаря этому. Разве не так?

Что-то рассердило его подругу.

- Вы безграмотные люди прежде всего, - заявила она. – Вы настолько неразвиты, что у вас процветают недоверие, непонимание, подозрительность, злоба... Вы бьёте один другого по лицу кулаками и считаете это подвигом. Геройством! Так что до мира и благоденствия вам пока далеко.

- Ведьмочка, царевна-лягушка, умница моя, это у нас естественный уровень агрессивности, совершенно необходимый для выживания, - я объяснял тебе, но ты никак не можешь примириться. Старый наш спор, давай его прекратим.

- Отчего же, - насторожился Семён, жаждавший более всего душевного разговора. – Это как раз самое интересное.

- Нет-нет, я не настолько невоспитан, чтобы спорить в гостях. И овсяные блины располагают к мирной беседе.

Ласковый взгляд Мани был ему наградой; она вообще глаз не сводила с него: ещё бы, такая знаменитость! «Ведьмочка», должно быть, спохватилась, почувствовала себя виноватой.

Актёр подпернул рукава пиджака, оторвал от блина кусочек, будто лепесток, предложил своей ведьмочке, а остальное засунул себе в рот и тотчас удивленно поднял брови:

- О-о!

Он плотоядно смерил взглядом блинную стопку.

- Не переигрывай, - улыбнулась ему подруга. – Чувство меры – это единственное свидетельство таланта.

Вот, пожалуй, только теперь Маня обратила свое внимание на гостью, и, видимо, ее озадачил наряд, в котором та была одета. Семён тоже присмотрелся: то ли свитер, то ли кофта, то ли платье такое – вольными складками на плечах, на груди, и рукава свободны. Сам покрой одежды – это еще ничего, а вот что за материя, не поймешь: похоже и на вязаное, и в то же время совсем на вязаное не похоже... А цвет этакий сумеречный, неяркий, незаметный.

Актёр между тем помазал следующий блин гусиным перышком, свернул трубкой, поднес ко рту, откусил – все это сделал так красиво, так невыразимо хорошо, что хозяйева опять обратили взгляды на него: любо-дорого было смотреть.

- А что же вы? – спросила Маня, не зная, как по имени гостью, которую то ли муж, то ли друг называет и так, и этак.

Та тоже стала маслить блин, но как-то неуверенно, неловко.

- Вот ты говоришь: я не прав, то и се, - обратился актёр к своей подруге, - а глянь, как восхищенно смотрит на меня наш хозяин. Думаешь, потому, что я такой красивый, бравый да сильный? Ничего подобного. Это потому, что на мне ореол – чей? Воина, солдата, бойца. Так, Семён Степаныч?

Семён посмотрел на гостью, поймал ее ободряющий взгляд, посерьезнел и произнес целую речь.

Прежде всего он сказал, что, безусловно, уважает Ивана. Да-да, именно Ивана. Но если б тот был просто лихой вояка, который здорово врукопашную дерётся, стреляет метко, в огонь и воду храбро идет, ну что же, тут он, Семён Размахаев, удивился бы, а потом очень скоро забыл. Мало ли таких лихих героев прошло по экранам да по страницам книг! А так вот не забывается. Вон Маня знает, сколько об Иване говорено у них было. Так почему же не забывается-то? А потому что он не просто солдат, тот Иван, его страдание возвысило.

- Страдание, понимаете? – спрашивал Семён с особенным выражением на лице: будто и сам в эту минуту страдал.

И вот тут, по Семёнову размышлению и рассуждению, корень всего: сразу то, за что солдат муку принимал, - родной дом, родная земля, родные люди – все это вместе поднялось на такую нравственную высоту, что сделалось свято. Выше этого уж и нет ничего. А вместе с этим страдание выделило и самого Ивана среди прочих и подняло его.

- Если б Христос не мучился на кресте, - высказал Семён вычитанную где-то мысль и ставшую уже его собственной мыслью, - то никто б и не поверил ему, не пошел бы за ним, исповедуя его учение. И вот уж две тыщи лет люди молятся ему... Я думаю, Христу здорово повезло. Да, была великая мука, но ведь какой случай выпал! На виду у всех людей и не за мелочь какую-то – за великое дело! Ему, конечно, повезло...

И далее высказал то, что было им давно уже думано-передумано:

- Мне иногда кажется, что ради своей победы надо... просто даже необходимо и смерть принять. Только бы случай хороший выпал. Если очень хочешь победить и если победа того стоит... Понимаете?

Актёр даже блин в рассеянности отложил.

- Видимо, тебя, Семён Степаныч, так надо понимать, - уточнил он, - вот ты пасёшь своё озеро, бережёшь его, защищаешь – это ведь стоящее дело! – и значит, тебе надо погибнуть за него? Так?

На это Размахай ответил, не раздумывая:

- Так.

Актёр переглянулся с подругой и высказал осторожно:

- По-моему, это... как-то прямолинейно, что ли. Даже глупо, а?

- Не просто умереть, и всё. А чтоб видно было! - поправился Семён. И повторил: - Чтоб всем было видно. Тогда дойдёт до людей, за что умер, и вздрогнут, и поймут... А если поймут, это спасёт и людей, и озеро.

- Вы ешьте, ешьте, - угощала Маня и приговаривала на два голоса: гостям – громко и ласково, а хозяину – потише и с упрёком. – А ты не болтай, что в голову ни взбредёт. .. Я-то от него всякого наслушалась, а вам-то в диковинку. Однажды он мне про сома... как выловил на дне озера. Я-то, дура, уши развесила.

Семён ее живо урезонил.

- Помолчи, - сказал он сурово. – Может, у меня единственный случай в жизни, когда за столом такие люди, что можно поговорить от души и они поймут.

И Маня замолчала. Сверчок Касьяшка рассвистелся! Откуда пронюхал, что гости в доме? Днём на улице был, а теперь опять в подпечке. Казалось, гостья, слушая хозяина, в то же время прислушивалась и к тому, что Касьяшка напевал.

А разговор за столом шёл серьёзный. Семён бесстрашно размышлял вслух: почему, мол, Иван тоскует о войне? Почему не может ее забыть и мечется, чего-то ищет? Места себе не находит, и тянет его в прошлое, будто там не война, не смертоубийство всякое, а первая любовь или что-то очень и очень дорогое. —почему так? А потому, по мнению Семёна, что разминулся он со смертью своей. С той самой смертью, которая... вот как электрический ток по проводам бежит, бежит, и никто его не видит, никакой пользы от него не будет, если не окажется на конце электрической лампочки. И тут, как взрыв – свет! Вот такой смерти, чтоб осветила жизнь, не выпало Ивану.

- Тут великая несообразица жизни: всё зависит от везения. Кому-то повезёт со смертью, а кому-то и нет. Очень редко выпадает удача, - так заключил Семён.

- Признаться, мне это не приходило в голову, - актёр уже не заулыбался, был серьёзен. – Да и Пал Санычу, нашему главрежу, тоже... Такая тракторочка Ивана неожиданна.

- Каждое дело свои концом славно, - уже не очень связно говорил Семён то ли себе, то ли сидящим за столом. – Нет хорошего завершения – всё пропало. Будь копна без вершины – сгниёт сено.

- Хм... Вот увижу его, скажу: живёт наш зритель в русской глубинке, на берегу Царь-озера, и он вот так рассудил...

- Вы ешьте, ешьте, - тихонько потчевала Маня, оглядываясь на Семёна настороженно: чего он ещё выкинет.

- Почему ты молчишь? – спросил Роман у своей подруги.

Та удивилась:

- Разве я молчу? Ах, да...

- Ты слышишь, какие идеи развивает Семён Степаныч?

- Слышу, - отозвалась она.

- По-моему, мы должны повлиять на него. Этак он черт-те до чего додумается!

- Я радуюсь, что мы пришли сюда в гости, - кратко сказала ведьмочка-царевна и больше ничего не добавила.

- Итак, ты готов на подвиг, - подытожил Роман, опять обращаясь к собеседнику, уже глубоко погруженному в раздумье. – И даже считаешь необходимым именно такой подвиг.

- Но если другого средства нет! – вскинулся Семён. – Если все прочие уже испробованы и – без всякой пользы.

- Значит, ты ждешь случая. Я правильно понял?

- Я, что ж, готов... - пробормотал Размахай. – Если б только повезло: не просто так, а вот как эта лампочка... чтоб осветить мозги.

- Господи, что он говорит-то! – ужаснулась Маня. – О смерти!

Актёр покачал головой, не находя слов.

- А иначе зачем вся моя жизнь? – спросил его Семён. – Иначе какой в ней смысл? Только так: жил-был, хлеб жевал... ну разве что родил еще одного хлебоеда и помер. Так? Маловато.

- Ну, роди шестерых, - посоветовала Маня, усмехнувшись: она легко переходила из одного состояния в другое.

Семён пожал плечами.

- Я у судьбы в резерве, - напомнил он. – Позовет – пойду.

- Ну, извини, Семён Степаныч, - актёр задвигался на стуле, словно стращивая с себя наваждение, - я не думал, что ты такой серьезный мужик. Извини.

- Ну, кто же затевает такие разговоры за едой! – возмутилась стряпуха. – Сём, поимей ты совесть. Разве за этим в гости людей приглашают? Зря, что ли, я старалась?

И с нею согласились все: нет, в гости ходят не за тем. Просто безобразие – вести за столом такой разговор. Поэтому, минуто спустя, Роман уже похваливал кулинарные способности хозяйки, только иногда этак пытливо взглядывал на хозяина.

Его подруга вдруг тронула Маню за локоть:

- У вас будет ребенок. Вы знаете, да?

Семён замер с блином в руке. Маня застыла с испуганным лицом: что она говорит? как это понимать?

- Да, да, мальчик, - сказала гостья. – Ему уже восемь недель. Родится начале января.

Маня, стоявшая у стола, села на лавку и бессильно положила руки на колени – так была ошеломлена.

- Она не хочет ребёнка? – тихонько и очень заботливо спросила женщина у Семёна..

- Да вы что! – смутился тот, едва владея собой от душевного смятения. – Она рада я не знаю как... Только ещё не верится ей.

- Неужели? – спросила Маня у гостьи. – Вы точно знаете? Не ошибаетесь?

- О, да! Тут я не ошибусь.

- Но... откуда вы взяли? Почему так решили?

- У вас хрусталик глаза с таким ободочком...

Она помахала своей тонкой рукой с тонкими, будто просвечивающими пальцами, но это ничего не прояснило насчёт глазного хрусталика.

- Я вас поздравляю, - сказал актёр хозяину. – И вас тоже, - спохватившись, поклонился Мане.

А та заплакала и засмеялась одновременно.

- Ребёночка так хочется мне! – выговорила она, хлюпая носом и вытирая его передником. – Не баловства ради... с Семёном Степанычем...

- Ну, ладно, ладно, - панически сказал Семён.

Маня ушла на кухню, выглянула оттуда:

- Неужели мальчик?

- Да, - кивнула гостья. – Глазки голубые, волосики русые.

- Ну, уж это-то откуда известно? – даже слегка возмутился Семён.

Мол, угадать насчет беременности – еще туда-сюда, а вот глазки, волосики...

- Как это откуда! – тоже слегка возмутилась знающая все наперед лягушка-царевна. – Разве не о таком вы речь вели?

- Когда?

- Ну, мысленно, конечно. Помните, мыли травной мочалкой мальчика Володьку и рассказывали ему про золотую рыбку, чтоб он не плакал... и при этом в мыслях-то: ах, если бы у меня был такой сынок! Чтоб непременно русоволосый, голубоглазый, с выгнутой спинкой.

У Семёна дух занялся! Он в растерянности даже сбился на свойский тон:

- Слушай, так это была ты?!

- Я.

Семён поглядел на Маню, та ничего не понимала; посмотрел на актёра, тот мирно уплетал овсяные блины. Только осведомился:

- Ого! Вы уже на «ты»... Ничего себе! Где бы достать пару пистолетов?

На него не обратили внимания.

- А зачем ты приплывала?

- Низачем. Просто так. Смотрю: мужчина моет травной мочалкой мальчика... очень интересно!

Она отвечала, и вид у нее был без всякого лукавства! Словно он ее спрашивал о будничном, она буднично и отвечала.

«Да чепуха все это! Не могла она...»

Взгляд Семёна упирался в привычные предметы – вот телевизор, вот плащ на вешалке, вот щелястые половицы пола – а что же происходит? За его столом сидит женщина, которая...

- А о чем мы еще говорили с Володькой? Ну?

- Когда я отплыла, вы заспорили. Ты, Семён Степаныч говорил, что видел рыбку, а мальчик ясно видел лягушку. И ты не знал, чему верить.

Голова кругом. Того гляди, свихнешься...

Маня опять вышла из кухни, всплеснула руками и опять то ли засмеялась, то ли заплакала:

- Ой, а мне все не верится.

И Семён от полноты прихлынувшего чувства смахнул слезу: ведь и надежду потерял давно, что будет у него... сын. Неужели будет?

- Вот так, Иван, - сказал он. – Если бы знать... в сельском магазине изъяли, понимаешь, из торговли... так я б в город не поленился съездить ради такого случая. Случай, может, один на всю жизнь, грех не отметить.

Актёр толкнул его под столом коленкой, показал глазами: на поясе под пиджаком висела алюминиевая фляжка. Он зашептал хозяину на ухо, но довольно громко:

- Там у меня еще фронтальной запас, но она озорует! – он кивнул на улыбающуюся подругу. – Я несколько раз пытался налить – оказывался всякий раз или чай, или кофе. Но нам же с тобой не это надо?

Семён кашлянул в кулак.

- Да уж... что верно, то верно.

- Ведьмочка! – проникновенно обратился актёр к своей подруге. – У нас мужское братство, и ты должна это понять. Не гляди на нас как сержант милиции на мазуриков, а гляди как мать на любимых детей своих.

Он отстегнул фляжку, стал наливать в услужливо подставленные Семёном стаканы: жидкость ничем не напоминала желаемую – это было молоко, причем топленое и с пенкой.

- Ну, ведьмочка, - обиженно сказал актёр. – Мы так не договаривались. У нас праздник...

- Ладно, - смилостивилась она. – Сейчас принесу.

Вышла из избы и тотчас вернулась с пузатой бутылкой в виде цапли с поднятым вверх клювом.

- Это иллюзия или всамделе? – осведомился актёр.

- Я вас так уважаю, - сказала она и ему, и Семёну, - что обмануть ваши ожидания не смогу.

Сияющая Маня села к столу.

- Ей теперь нельзя, - заботливо сказал Семён, кивнув на Маню.

- Можно, можно, - разрешила гостя.

- Значит, все-таки иллюзия? – огорчился актёр.

- Угощайтесь! Не повредит ни вам, ни ей.

Но наливала всем из одной бутылки. Жидкость была густа, как свекольное сусло, а цвет имела лимонно-желтый. Во рту от нее сразу посвежело, и тело обрело невесомость.

- На свете все иллюзия, - изрек Семён, опять приступая к душевному разговору.

16.

Наутро солнце взошло как обычно, на привычном для себя месте. Но Семёну казалось, что солнечный свет излучает не оно, а та оранжевая палатка, что на противоположном берегу.

Томимый разнообразными чувствами, выгнал он свое стадо и двинулся берегом не спеша, чтоб не оказаться возле волшебной палатки слишком рано, чтоб не обеспокоить ее жителей лишним раз.

Митя в это утро, едва продравши глаза, отличил в стаде одну из коров и теперь преследовал хоть не слишком грубо, однако очень настойчиво, не отставая ни на шаг. Можно было с уверенностью предполагать, что к вечеру он ее уговорит, уломает, но хлопот ему предстояло немало: корова – а это была комолая красавица Милашка Осипа Кострикина – пока не проявляла к Мите должной благосклонности. Это Митю нисколько не обескураживало; несмотря на молодость, бык обнаруживал в любовных делах завидную настойчивость и совершенно необходимое нахальство. Но он теперь начисто отключился от посторонних интересов, уж с ним не поговоришь по душам, а поговорить пастуху хотелось.

Солнце поднималось все выше и выше, стадо подвигалось все ближе и ближе...

Сердце замирало! Нет, не новой встречи со знаменитым актёром ждал Семён и не с героем-солдатом хотелось ему потолковать. Он был, конечно, не против, но гораздо желанней другое: не терпелось поскорее увидеть эту странную, полусказочную, непостижимую женщину. Даже не ради разговора, когда можно узнать черт-те что, о каком-нибудь волшебстве или чуде, сколько затем, чтоб ловить ее завораживающую улыбку, слышать ее очаровывающий голос.

Вчера вечером все дело испортила Маня: она никак не могла очухаться после благоприятной вести, то смеялась невпопад, то сбивала разговор дурацкими суждениями. Семён так досадовал на нее! Разумеется, он тоже радовался предсказанию, но не настолько же, чтоб совсем забыть себя. Да и чего раньше времени ликовать – праздник должен быть в свой черед, а пока сохраняй достоинство.

Роман подбил Маню петь песни, а ей только предложи – она готова всегда! А тут вдруг просит не кто-нибудь, а знаменитый киноактёр – Маня была просто сама не своя, даже похорошела. Они в два голоса очень здорово пели «Липу вековую» и «Степь да степь кругом»; пели задушевно, до слез на глазах... но не песни нужны были в этот вечер Семёну Размахаяеву! Впрочем, ему было хорошо. Чего там – очень даже хорошо.

Гости не засиделись долго; он вышел их провожать, желая видеть, как поплывет «божья коровка» по озеру. Но она, вместо того, чтоб поплыть, просто нырнула в воду и скрылась; фары ее

вспыхнули уже в озерной глубине, высвечивая знакомые Семёну очертания подводных холмов, и очень скоро как ни в чем ни бывало вынырнули на том берегу, осветили палатку и погасли. Палатка же продолжала светиться сама собой, и огромная тень рака легла на звездное небо.

Она была светоносна и сегодня, при солнце, как и полагается быть жилищу волшебницы, богини. Семён уже ничему не удивлялся, просто чувствовал, что все так должно быть, поскольку такова воля женщины, его любимой, знающей все и умеющей все.

Чуть не до полдён маялся он, не видя ее. Так хотелось опять быть с нею рядом, разговаривать, видеть бледное личико, обрамленное пепельными волосами, и обмирать от каждого ее взгляда. Хотелось, но... опять он боялся быть назойливым. Это уж совсем обесстыдет, считал Размахай, - лезть к ним по поводу и без повода. Уж и так-то люди приехали отдохнуть, поразвлечься, а он им покою не дает. Мало разве, что они поговорили с ним вчера, как с человеком, даже в гостях побывали.

Вот так и страдал он в разлуке.

Желая найти себе занятие, наведаясь к дороге, что идет от нового шоссе к Архиполовке. Тут обнаружил, что ямы и рвы, им выкопанные на проселке, засыпаны гравием и песком, а камни-валуны и коряги, им навороченные на проезжую часть, уже раскатаны по обочине; что же касается дорожных зеленых насаждений, то они были выдраны с корнем, и весь проселок аккуратно выровнен и прикатан.

Семён долго смотрел на эту культурную работу и пришел к выводу: и непогоду не остановишь, и против техники не попрешь. То, что он воздвигал с таким старанием, то, на что потратил столько труда, было уничтожено одним махом. Значит, если еще две недели копать и громоздить – приедет бульдозер и заровняет за одну езду. Техники очень много, и она всесильна – это справедливо и для промышленно развитого города, и для глухой Архиполовки с ее окрестностями.

Печальным возвратился Семён к стаду от этого проселка. И поделиться этой новой печалью не с кем. Не с Митей же!

Вроде бы мелькнула в отдалении знакомая легкая фигурка? Нет, показалось. Вроде бы голос ее долетел? Нет, почудилось...

Полдня – это уже вечность!

Наконец стадо приблизилось настолько, что пастух мог рассмотреть на полотняной стене домика-палатки шевелящего усамы рака. А «божья коровка» рядом сияла вся, будто только что покрыли ее лаком. Иван... вернее, тот, кто был Иваном в фильме, неподалеку, насвистывая, что-то мастерил, легонько стучая деревяшкой по деревяшке. Он очень дружески махнул пастуху рукой: мол, все в порядке, привет!

А где же...

Семён тоскующим взглядом рыскал туда и сюда – нет ее. Может, в палатке? Может, заболела? Слабенькая ведь. А вечером сырость над озером, долго ли простыть!

Увидев ее, он даже вздрогнул: она сидела опять в укромном месте на бережку, спустив ноги вниз, держала на коленях большой альбом и что-то писала.

Семёну опять показалось, что она смеется, глядя на озеро, и он, радостный, подошел к ней.

Царевна-волшебница не писала, а рисовала. На небольшом, в общем-то, листе бумаги удивительным образом поместилось огромное пространство. Семён увидел и озеро, и отражающиеся в нем берега, облака, и остров посередине с рощицей молодых березок и осинок, и свою деревню на том берегу...

Деревню-то он не сразу узнал: на окраине Архиполовки, на холме, который почему-то называли Весёлой Горкой, была изображена... церковка. Она тоже ясно отражалась в озере – деревянная, маленькая, судя по всему, недавно построенная, очень весёлая, радостная на вид: всё в ней росло, стремились вверх – деревянные луковки-купола, узкие, стрельчатые окна, старая колоколенка. Да, говорили, что некогда церковь была. Он, Семён Размахаев, не застал ее, поскольку родился лет на десять или даже пятнадцать позднее ее безвременной кончины; а скончалась-то она в двадцать каком-то году после того, как попа Василия Сверкалова (нет, это не отец Витьки, а дед) увезли куда-то за грехи. Вскоре строение приказали разобрать на дрова, но никто не хотел топить печи этими дровами, и однажды ночью, как рассказывают ныне старушки, брёвна сами собой загорелись. Взнялось пламя высокое и отлетело в небо, оставив только пепел. Теперь вот на Веселой Горке только густая поросль черёмухи да сирени – непролазная чаща.

Значит, вот она какая была, Архиполовская церковь, построенная некогда в честь Рождества Богородицы. Если б стояла донныне – веселый этот росточек, стремящийся к небу, очень бодрил бы деревню с озером и добавлял всей местности что-то такое, что совершенно необходимо, без чего некая несо-

образная пустота зияла. Если б она стояла, церковь, тогда плоскость озера с его низкими берегами обрела бы высоту и нерасторжимое единство со звездным миром. Семён вздохнул от сожаления, что нет уже церквушки. Царевна-художница оглянулась, кивнула ему приветливо, но будто ветерком опахнуло Семёна: столь прекрасная вчера, сегодня она была этак будничной на вид, и взгляд ее не был таким животворящим, как накануне.

- Сядьте, Семён Степаныч, вон туда, - повелела она, ковычком головы указав на береговой камень-ванун. – Я напишу ваш портрет.

Ха, портрет! У него и фотографии-то не было своей, а тут тебя нарисуют... Это было бы здорово!

Он послушно сел, пригладил волосы, подвигал плечами, чтоб побравей выглядеть, а она уже рисовала его, приговаривая:

- Смотрите на озеро, а не на меня.

Но он смотрел на нее. То, что сегодня на ней было надето, - и непарадно, и ненарядно: какое-то костюмчик из мягкой, мятой ткани. Ноги босы, и пальцы на ногах поразительно длинны, с узкими-узкими ногтями; голубые жилки кое-где просвечивали сквозь мраморно-белую кожу и а лодыжках, и на руках, обнажённых до локтей. Поймав его мысль, она улыбнулась и одёрнула рукава, а ноги спрятала в траву. Семён в смущении отвёл глаза. Не было у него в душе прежнего восторга – только щемящая жалость.

- Так, так, - ободряюще кивнула она. – Именно так.

Он не понял, к чему это относится. Не понял и того, почему она, рисуя, то и дело смотрит на озеро.

Сидеть ему пришлось недолго, вскоре она уже сказала:

- Ну вот, кажется, готово.

На листе бумаги был изображён довольно диковатого, своевольного вида мужик с нечесаной гривой соломенного цвета волос, рыжебородый, в домотканой рубахе; одна рука, грубая, корявая, положена ладонью на грудь, будто он клятву произносил или молился. Ничуть тот мужик не похож был на Семёна Размахаяева... а впрочем, нет, похож: у него такой же хрящеватый размахаяевский нос, и тот же костистый склад лица, и по-детски синие глаза. Вот только две борозды-морщины резко легли по сторонам рта – таких у Семёна не было.

«А-а, это она меня в старости изобразила!» – подумал он.

Царевна-художница покачала головой: нет, нет.

Глаза нарисованного мужика смотрели требовательно и смело: чего, мол, надо? Совершенно живые глаза; взгляд их был осязательным настолько, что Семён чувствовал его, даже отвернувшись. То был явно очень бедный мужик, но дерзкий, сильный, привычный ходить на медведя с рогатиной, подковать лошадь, вытащить из топи застрявший воз. Конечно, он работяга и хозяин – видно по руке, положенной на грудь.

- Это не я, - сказал Семён.

Она опять улыбнулась.

- Ничего, я потом уточню. Думаю, это кто-то из вашего рода.

- Дед?

- Не-ет. Даже не прадед, много дальше.

Подумала и добавила:

- Может, это Архип, по имени которого зовётся ваша деревня. Я пока не знаю.

Так ли, нет ли, но Семёну ясно было, что этот мужик, судя по его смелым и неуклончивым глазам, никому не позволил бы бесчинствовать на озере. Это хозяин был! Хоть и в бедности, но хозяин.

- А вот что бородатый и с такими руками... вы придумали? Неужели тот мой прадед был таким?

- Так отразилось в озере, - объяснила она. У меня отсутствует воображение, я ничего не выдумываю.

- И церковь? – спросил Семён после паузы. – Тоже оттуда, из озера?

- Да. Там всё, что было, и то, что есть ныне. И мы с тобой. Материя хранит в себе отпечаток образа – это ее память. Она и в озере, и в воздухе, и в камне...

Семён удовлетворенно кивнул:

- Как на фотопластинке.

И по своему обыкновению, впал в задумчивость. Ему послышался колокольный звон, плывущий над Царь-озером, и почувствовал большой костер в ночи, когда языки пламени рвутся вверх подобно росткам молодой осоки, подобно колоколенке церкви.

Актёр подошел, оживленный, азартный, о чем-то заговорил, но Семён его хоть и слышал, но не взял в понятие.

- Семён Степаныч! – окликнул Роман. – Что закручинился? Здоров ли?

Тот в ответ ни гугу. И напрасно: Роман рассказывал, как поставил удочку с живцом, и на его глазах подплыл бобер и

живца откусил. Происшествие такое отнюдь не огорчило рыбака, а напротив, привело в восхищенное удивление.

Но Размахая было не до этой пустяковины.

- Это что же, - сказал он, - придет время, и озеро пропадет, как наша церковка. И все, что в этой воде подобно изображению на фотопленке, погаснет? Пропадет, и ничего не останется?

Ведьмочка-художница, наверняка знавшая что-то, молчала, и это встревожило Семёна.

Актёр взял в руки альбом, разглядывал, как видно, церквушку, приговаривал:

- Хороша... Ах, как хороша!

- И что же останется? – вопрошал Размахай. – Чертополох? Или пустыня сюда придет?

Никто ему не отвечал.

- Семён Степаныч, молочка бы парного, а? – вздохнул мечтательно Роман и положил руку ему на плечо. – Я и котелок вымыл. Вон он под кустиком.

Пастух рассеянно взял вчерашний котелок и отправился к стаду.

- Что, его дела плохи? – спросил актёр у женщины, провожая его глазами.

- Боюсь, что да, - тихо отвечала ему подруга. – Я не могу предсказать всего до мелочей, но в основном, боюсь, что да, плохи.

- Зачем же они погубят его?

- Ты про озеро?

- Разумеется.

- Странно, что этот вопрос ты адресуешь мне, - женщина вдруг заволновалась, тонкие руки ее стали беспокойны. – Я возвращаю тебе его, ты и ответь. Дело не только в этом озере – таких озер – тысячи! Во имя чего вы их губите? Чем вы будете дышать? Чем вы будете живы?

- Значит, Царь-озеро обречено, - вздохнул актёр после продолжительного молчания. – Ай-я-яй. Что же тогда ожидает нашего пастыря?

Он оглянулся на стадо, где Семён уже присел на корточки возле Светки, зажав котелок в коленях.

- Посмотри, пророчица моя, как он доит! Это ж высший класс: попасть струями молока в котелок. Я думаю, он мог бы и в бутылку точно так же надоить!

Женщина тоже посмотрела в сторону стада, и слабая улыбка появилась на ее лице. Актёр спросил:

- Он утверждает, что у судьбы в резерве... От него что-то зависит?

- Как от каждого из нас... А за него я боюсь.

Тень прошла по ее лицу, некое содрогание, как от боли, пробежало по худенькому телу.

- Не надо, - он заботливо, этак осторожно обнял ее за плечи. – Мы пройдем каждый свой путь. Не надо нас жалеть. Может быть, кому-то из нас повезет, и ему выпадет тот подвиг... как целебное средство от массового помутнения разума.

- Не тебе, не тебе...

- Как знать! – отозвался он обидчиво.

- Прости меня... Что-то сегодня смутно на душе, никак не найду успокоения. Даже вот рисовать принялась да не помогает.

- Тогда уедем? Я знаю одно местечко на Нерли Волжской.

- Что ж, можно и уехать... А предок хорош, верно? Сколько жизненной силы, сколько отваги! И воин, и охотник, и хлебопашец... Вроде твоего Ивана. Хорошие тут жили люди., Рома, хорошие. И ещё живут, верно?

- Мельчаем, мельчаем, умница моя. Верно наш пастырь говорит: исчезает чистая вода, всё грязнее воздух... Я недавно где-то вычитал: даже миражи и призраки бывают лишь в чистой атмосфере! Ведьмы и русалки перевелись, ты – последний экземпляр, как знамение грядущей катастрофы..

- Ты заплатишься за дерзость, - пригрозила она шутливо.

- Пицца наша всё более и более отравляется химией – и молоко, и зерно. Мы умираем при жизни, как тот камень, что ты показывала вчера.

- Но ведь ты вроде бы оптимист! – напомнила она.

- Мне хочется быть оптимистом, а получается из меня только жалкий бодрячок, - признался он.

Семён уже возвращался назад. Котелок он держал столь бережно, как вчера, но молоко раза два выплеснулось через край.

Опять эти двое пили, передавая котелок друг другу, а пастух стоял рядом, из деликатности стараясь не смотреть, как они пьют, и однако же, покоряясь властной силе их притяжения.

Тень страдания мелькнула вдруг на лице женщины, она оглянулась на озеро. Будто больно ей вдруг стало.

- Вы что? – встревожился Семён.

- Ничего, так... Голавлю подвернулась крупная сорожка... И проглотить не может, и не отпускает. Мучается сорожка.

- Эко дело! – чуть не сказал Семён.

- Вот проклятая боль, - пожаловалась она. – Вдруг наплывает, наплывает на меня чьё-то страдание и начинает терзать – невыносимо!

- Отвернись, отвернись! – поспешно сказал ей Семён и глянул на актёра: прикажи, мол, ты ей.

- Солнышко моё, - сказал актёр, – пей молочко. Оно исцеляет.

- Что же, разве у вас не так? Рыбы не едят рыб? – спросил у нее Семён.

Она покачала головой: нет.

- Но как же! – удивился он, словно возмутился. – Как же тогда...

- У нас нет рыб. И нет птиц. И нет зверей. Они только в преданьях старины глубокой.

- Ничего нет? - испугался пастух. – Вот беда так беда...

Лицо его приняло такое выражение, словно он узнал, что они там неизлечимо больны, обречены на смерть, и он не может им ничем помочь, как не может скрыть своей жалости к ней и страха за нее.

- У нас другое, - сказала она, будто желая ободрить его или себя, - и это другое, достояние наше, не менее ценно, поверьте.

Она не удержалась от упрёка:

- Однако же в отличие от вас, мы умеем его беречь, это достояние, умеем быть разумными.

Семён понимающе кивнул, хотя ничего не понял.

- Она хочет вернуться туда? – спросил он потихоньку у актёра, пока она пила молоко.

- Конечно, - кивнул он.

- Там лучше, чем у нас? – спросил пастух у нее, когда она передавала котелок актёру.

- Там моя родина, - отозвалась она тихо, и вдруг – как это прекрасно! – слезы навернулись у нее на глазах.

- Да, да, - и обрадовался этим слезам, и немного растерялся Размахай. – Извините. Но все-таки как же... если все не так.

- Разве словами объяснишь! Это надо видеть. Да и не имею я права объяснять, - и пошутила со слабой улыбкой: - Не уполномочена.

- Я говорил тебе, - напомнил актёр. – Нам этого не понять. А пойдем – мозги сразу набекрень.

Он словно раз и навсегда отказался что-то понимать и, допив молоко, ушел насвистывая. Вот легкий человек! Счастливый

человек. Семён же размышлял, усиленно двигая кожей на лбу, потом спросил:

- Ты собираешься вернуться?

- Не знаю... Если удастся!

Он попросил решительно и твердо:

- Возьми меня с собой. Когда надумаешь возвращаться, скажи мне, я пойду с тобой. Что тебе пользы от Румы! Он отличный мужик, но что от него? Я пойду.

- А озеро? – улыбнулась она. – Останется без присмотра?

- Я посмотрю, как у вас там все налажено-устроено, и вернусь.

Женщина печально покачала головой.

- Что? Нельзя?

Она молчала.

- Но должен же кто-то нам помочь! – возмутился Размахай, возвышая голос. – Неужели вы не видите, что сами мы уже не в состоянии справиться? Ну, помогите нам! Вы можете научить, как спасти все это. Ведь надо же непременно спасти, иначе мы пропадем.

Она смотрела на него внимательно и, как ему показалось, отчужденно.

- Посмотри, - убеждал Размахай с еще большим пылом и жаром, - кругом дымят заводы и города, жрут кислород самолеты и ракеты, всякая химия течет в реки и озера...

По словам Размахая выходило, что вот за этим перелеском почти погубленный Байкал: в нем уже мрут тюлени и рыба-омуль, потому что не выносят загрязнения, и пить байкальскую воду скоро будет нельзя. А за Хлыновским логом – Аральское море: на карте географической оно есть, а на деле нет, превратилось в соленую лужу, и оттого великие беды не только Средней Азии, но и всем, где бы они ни жили. А Векшина протока не куда-нибудь – в речку течет, а та речка впадает в Волгу...

- Что с Волгой, знаешь? – спрашивал он. – Эти деятели превратили ее в сточную канаву... или скоро превратят. Волна качает берега! Совсем хана... Возьми меня с собой. Я способный, на лету схватываю. Может, уразумею суть вашего жизнеустройства и вернусь сюда.

Она продолжала молчать. Ясно было, что не хотела брать его с собой. И это ее-то он полюбил!

- Ну, так я не хочу больше с вами знаться! – уже закричал Размахай. – Что вы за люди? Почему вы глухие?

На крик его вышел из-за кустов встревоженный актёр, обменялся с подругой взглядами. Семён услышал, как он спросил негромко:

- Чего просит этот ребёнок?

И она что-то быстро ответила ему; вид у нее был виноватый.

- А-а! – сказал актёр. – Земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. Придите править и владеть нами. Так? Это уже было.

- Почему до вас не докричатся, хотя вы рядом? – продолжал наседать Размахай, обращаясь у же к ним обоим. – Чем вы лучше Сверкалова и Сторожка?

- Семён Степаныч, мы справимся сами, - бодро сказал актёр. – Должны справиться, и это нам по силам, уверяю тебя.

Но Размахай не слушал его. Что может сказать этот бодрячок, постоянно играющий чужие роли, перед всемогущим и всеудушающим злом? Оно просечет жизнь всех: и людей, и зверей, и рыб, и птиц, и букашек – неужели это неясно? Семён не мог слушать ничьих бодрых заверений – достаточно он их наслушался по телевизору и начитался в газетах! – потому отвернулся весьма нелюбезно и ушёл к стаду.

17.

Митя по-прежнему был занят ухаживанием, не отставал от своей избранницы ни на шаг и все норовил обнять ее. Несколько коров, не обращая никакого внимания на Митины шашни с Милашкой, отправились на поле, но то оказалось совершенно пустое поле, без лакомой озими – на нем недавно посадили картошку, а она едва-едва начала всходить. Семён даже не пошел заворачивать оттуда коров, и они сами вскоре вернулись.

В расстроенных чувствах пригнал стадо к деревне, поставил здесь на полдни и отправился домой берегом озера. Настроение было – хуже некуда. Напротив дома Сторожковых увидел Володьку: парнишка купался на мелководье в заливе, куда кто-то сбросил шины тракторных колес и разрезанную пополам бочку из-под солярки.

Ясно, что пятилетнему парнишке не притаранить такие огромные шины, тем более две эти полубочки. Он увлеченно бултыхался среди них... и радужные разводы бензиновых пятен расходились по глади озера, застревая в осоке, в ветвях плакучих ив, спущенных до воды.

- Вылезай! – приказал Семён.

Но юный друг-приятель проявил строптивость и только весело посмотрел на него:

- Не-а.

У приплёска валялась промасленная ветошь. Семён подобрал ее и зашагал к дому Сторожка. Перед фасадом черная, покоробленная лагунка выбрасывала вверх багровое пламя и копоть хлопьями. Тут же рядом стоял трактор с не выключенным мотором, вооруженный экскаваторным ковшом и бульдозерным ножом, готовый к любой работе – он весь подрагивал в злобном нетерпении. Сам хозяин сидел у окошка, пил молоко из кринки и любовался на копоть, а та пробивалась сквозь крону ветлы, оседая на ней, отчего и ветки дерева, и листья на них становились угольно-черными. И потому скалил зубы Сторожок, что знал: картина эта терзает сердце приближающегося Размахая.

Как было вынести такое издевательство? Семён стал собирать все горюче-смазочное и бросать к стене сторожковского дома. Холера открыл окно пошире, спросил вполне благодушно:

- И какое ты хочешь вознаграждение за свой труд? Аккордно или тарифно?

Семён, бормоча себе под нос «волна качает берега» в самом ругательном тоне, бросал пропитанные автолом картонки, замасленные жестянки, пробензиновую ветошь, разбухшие от мазута доски, изгвазданные солидолом фанерки как раз под окно с физиономией Валеры.

- На многое не рассчитывай, - измывался Сторожок, и острые ушки его пламенели от удовольствия. – Поскольку никто тебя не просил, на то твоя вольная воля. А вот прокатиться не хочешь?

Размахай подцепил палкой чадящее ведро и бросил на собранную кучу – пламя пыхнуло особенно багровое, и дым повалил с особенно черной бахромой.

Распахивая крутой грудью двери, хозяин выскочил из дома. Куда девалась улыбка и мирный тон в голосе! Налетел на горящую грудку, стал было расшвыривать ногами, обжегся, подхватил вилы – вилами, потом с матюгами – на Семёна...

Славная была у них рукопашная! Сломали ветлу, оторвали экскаваторный ковш и колесо у трактора, в щепы разнесли прицепную тележку, ни к чему не прицепленную, только дом устоял. Правда, сильно подзакоптел с фасада. Мать и жена Валеры из предосторожности вынесли вон ковры, хрусталь и радиоаппаратуру, которую Сторожок столь уважает.

- Век научно-технической революции! – орал Сторожок. – Ты можешь это понять? Жрать хочешь, телевизор смотреть, на автобусах ездить, и чтоб работать полегче, и бензином бы не воняло?

- Тебя вместе с трактором! – тоже орал Семён. – Спихнуть в болото! В отхожее место!

- Цветочки у него, вишь, помяли! Водичку, понимаешь, замутили! Птичек распугали!

- Ни одна животина не гадит у себя в доме! А ты что творишь? У тебя желудок в голове, а не мозги!

- Да я тебя в гробу и белых тапочках!..

- Собака!..

В общем, крику было много, и послушать их собрались не только люди, но и коровы, кошки и, наверное, даже сверчки – все население Архиполовки. Семён считал, что победа осталась за ним; он удалился с поля битвы, чувствуя, что на душе полегчало. Вот только сильно саднило теперь уже не под левым глазом, как вчера, а под правым: кажется, Сторожок «достал» его – это жаль. И даже то, что сам он разбил губу Холере, не утешало.

А все-таки прав красавец-киноактёр, носящий образ солдата Ивана: надо выбирать к победе самый простой путь. Небось, теперь Сторожок призадумается, прежде чем сотворить какую-нибудь пакость!

Легкий, как после хорошей разминки, погнал пастух свое стадо с полден опять берегом. Немного смущало его сознание, что нет, не похвалит его за очередной подвиг царевна-художница, но что же делать!

«Нельзя было иначе! – заранее оправдывался Семён. – Пусть она сама потолкует со Сторожком. Вот я сейчас пойду и скажу ...»

Он хотел предложить ей поговорить с Валерой, но... увидел издали, как оранжевая палаточка опала разом на землю, словно из нее выпустили воздух. Машина же, так похожая на божью коровку, стояла, раскрылившись, будто наседочка, и актёр со своей спутницей совали под крылья ее свои вещи, как цыплят.

Сердце Семёна опять уронило себя в пустоту, и он заспешил к ним.

- Да, уезжаем, - сказала женщина, прочитав немой вопрос в его глазах.

Она захлопнула одно крылышко... другое... Подошла к нему, соболезнующе заглянула в глаза, приложила листочек под правый глаз Семёну и, вздохнув, ничего не сказала. Боль под глазом тотчас унялась, но пастуху было не до того, чтоб замечать такие мелочи.

- Это вы из-за меня, что ли? – поспешил он объясниться. – Из-за давешнего, что я накричал на вас, да? Но ведь я же...

- Нет-нет, - сказала женщина ласково. – Вы, Семён Степаныч, не кричали, а очень горячо и справедливо высказали нам свой упрёк. Очень справедливо, понимаете? Не кладите на себя вины.

И она, как в прошлый раз, когда хотела придать особый вес словам своим о заповеднике в душе, накоротко приложила невесомую руку свою ему на грудь. Нет, мол, они на него, Семёна Размахаяева, отнюдь не сердятся, просто им уже пора.

- Но вы приедете ещё?

Это было, как крик.

Гости переглянулись этак странно, и он понял: не приедут. Отчаяние овладело Семёном.

- Что же, мы больше не увидимся?

Голос Размахая совсем упал.

- Семён Степаныч, не страдай, - сказал актёр, обнимая его за плечи. – Что значит: приедете или не приедете? Что значит: увидимся или не увидимся? Разберись сначала в этих вопросах. Ты ведь видел меня раньше? Ну?

- Видел, - кивнул Семён.

- И я тебя тоже, поверь мне. Я знал, что ты где-то рядом, сочувствуешь мне. Так что мы с тобой были знакомы задолго до нашего приезда сюда. А раз встречи были в прошлом, почему же им не быть в будущем? А теперь другое... Жили-были старик со старухой у самого синего моря, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу... Слышишь? Хоть и сказано «жили-были», но мы их знаем, мы с ними вместе и сегодня, а ведь они выдуманы! Их нет, но мы с ними не расстаёмся. Разве я не прав?

Семён посмотрел на актёра, потом на женщину, та покивала: так, так.

- А с третьей стороны: совсем не важно, когда жил человек, - сто лет назад или тысячу – если мы о нём помним, хоть не по имени, но по сказанному слову, по совершенному делу – разве он не продолжает жить? Значит, нас много, и мы все вместе со всеми нашими мыслями, деяниями, мечтами... Мы всегда можем встретиться!

Он порылся в машине и скрылся за кустами.

- Но ведь... его всё-таки нет, - трудно размышлял Семён. – Его нет, того человека, который жил тысячу лет назад.

В ответ женщина сказала, что это иллюзия, что в итоге все живут вместе – и те, что из прошлого, и те, что из будущего. Все живут в одно время, а оно неподвижно, у него ни начала, ни конца. Время имеет те же измерения, что и пространство. Так или примерно так она сказала. Ход ее рассуждений отстранялся, отдалялся от размышляющего Семёна, он едва-едва поспевал за ним.

- Не-ет, - сказал Семён, поймав ускользающую мысль, - тут что-то не так.

Он согласен: ну, например, Пушкин, или царь Петр, или купец Афанасий Никитин живут. И многие еще из тех, что жили когда-то – их знают ныне, потому они и живут. Но ведь никого нет из тех, кто будет, кто придет сюда, на нашу землю, потом, после нас, то есть из будущей жизни.

- А я? – тихо спросила женщина.

Он замер и молча смотрел на нее.

- Меня еще нет, - сказала она. – Меня еще нет с вами... и вообще на свете...

Она будет потом. Она придет и увидит на небе ковш Большой Медведицы таким, как он запечатлен родинками у нее на плече.

- Мы брат и сестра, - напомнила она, - мы брат и сестра, несмотря на то, что между нами тысячи лет.

Ну вот, совсем задурила ему голову: он совершенно не знал теперь, как все это понимать; и чему, собственно, можно верить, а что положить в сердце, как сказку.

- Может быть, ты все-таки возьмешь меня с собой? – опять попросил он. – Не сейчас, а вот когда надумаешь возвратиться туда.

- Я не знаю, как у меня сложится, - сказала она и далее уже особенным тоном, как клятву: - Но одно могу пообещать твердо: я сделаю для тебя все, что в моих силах.

Семён кивнул: это, мол, наш главный уговор. Замётано, мол!

- А пока что... Вы могли бы приезжать с Романом сюда. Все-таки тут такие места! Царь-озеро... Вы теперь знаете, что лучшего места нет на земле.

- Знаем. Приедем...

Это она просто так пообещала. Он ясно видел, что она хотела не то чтобы утешить его, а как-то смягчить минуты прощания.

- Нет-нет! – сказала она, поймав его мысль. – Я обязательно сюда вернусь!.. Только, может быть, в другом облике. Вдруг ты не узнаешь меня! Мне очень хочется посмотреть, как ты будешь мыть своего сына травной мочалкой в озерной заводи.

Она засмеялась и продолжала, оглядываясь на него, хлопотать вокруг машины: бросила щепотку чего-то в остывший костер – трава тотчас подвинулась над кострищем, скрывая обожженное место; захлопнула багажник, и Семён увидел на нем усатого рака величиной с локоть – это был тот самый, с палатки. Да что он, переполз, что ли?! Пастух подошел и украдкой потрогал его – да, рисунок. Что за чертовщина!

Из-за кустов вдруг появился... Иван. Усталый, в пропыленном и рваном обмундировании, со шрамом на щеке и брови. Подошел, прислонил винтовку к «божьей коровке» – приклад ее был прострелен, и Семён знал, при каких обстоятельствах это произошло.

- Ну, прощай, браток, - сказал Иван так знакомо и руку протянул Семёну. – Может, еще свидимся...

У Семёна екнуло сердце. Он пожал протянутую руку – то была не холёная рука актёра, а именно солдата Ивана – грубая, с обкуренным большим и указательным пальцами, с мозолями настолько явственными, - не ладонь это, а корневище дерева; и чуб поседелый из-под пилотки... Пахло от Ивана дымом, потом, пороховой гарью... словно он только что вышел из боя, что продолжается в ближних лесах.

- Ты все воюешь? – спросил потрясенный Семён, веря и не веря собственным глазам.

- А как же иначе, браток?

- Война вроде бы кончилась...

- Но ведь они наступают!

- Да, верно, наступают.

- Кто это «они»? – спросила женщина, появляясь рядом.

- Те, кто против нас, барышня. А мы за правое дело.

- Но кто определяет правоту? Тут важно не ошибиться.

- Не финти, барышня, не финти. Мы знаем их в лицо, гадов: у меня свой враг, у Семёна Степаныча свой, но суть одна: мы за правое дело.

- Значит, другого пути у вас нет? Только через насилие, через войну?

- Посторонись-ка, барышня... Куда идет ваша таратайка? Не прихватите ли меня вон до того леса, там наша позиция.

- Прихвачу, - сказала ведьмочка-царевна, опечалившись.

- Я солдат, и моя война продолжается. Пока гадов не одолею, пахать и сеять некогда. Да и вы, барышня, оглянитесь вокруг: война продолжается! Вот так-то, умница моя. Ну что, едем?

- Законом жизни должна быть любовь – всеобщим законом! – тихо сказала «барышня». - Сутью человеческой деятельности должна быть красота. Целью творческих поисков – истина.

- Тебе хорошо говорить, - сказал солдат, пристраивая винтовку внутри маленькой машины – никак не умещалась. – Ты, должно быть, нездешняя. Вишь, чистенькая какая, и свет неземной в очах. А нам иначе нельзя: ведь они прут на нас, гады! И мы исполним свой долг, потому что мы солдаты.

Он подошел к Семёну, подал руку:

- Ну, еще раз... прощай, браток. Что-то понравился ты мне. Я б тебя в разведку взял. Ладно, может, еще выпадет. Мы еще повоюем, верно?

Семён проглотил комок, застрявший в горле, и подтвердил:

- Повоюем... только чтоб за правое дело.

- А иначе жить не стоит! – сказал Иван, отходя.

И он, и женщина уселись в «божью коровку» с двух сторон, машина сама собой закрыла два последних крылышка и стала гладкая, будто цельная, этак обтекаемая. Кстати, были у нее колеса или нет? Семён никогда не видел их. Рак бесцеремонно раздвинул черные круглые пятна на «спине» машины, устраиваясь поудобнее, а «божья коровка» шустро двинулась вперед, приминая высокую траву, которая, однако, тотчас выпрямилась. Семён увидел, что женщина, наклоняясь, заглядывает в окошко, чтоб увидеть его...

- Мы брат и сестра! – крикнула она. – Помни об этом!

Когда они исчезли за кустами, он рванулся следом, чтоб предупредить: там же болото! Но тотчас остановился: они, конечно, знают... и им ничто не помеха.

18.

На другой день, рано поутру, приехал на мотоцикле участковый милиционер Юра Сбитнев. Он опросил свидетелей, испи-

сал пачку бумаги и увез поджигателя и хулигана Размахаева Семёна. Кстати сказать, Юра чем-то ужасно похож на Сторожка, хотя если разобраться, то что же похожего? Холера белобрыс, а Юра черняв; у Холеры глаза – как у кошки Барыни, когда на охотится на воробья, а у этого с хитрецей и ужасно умные, потому что в красивых очках. А похожи тем, что они со Сторожком приятели, и оба горячо любят саксофониста Рони Эдельмаса, певичку Трури Ферлуччи и рок-группу «Ковантере», которой руководит трясучий Хепхоук.

Дорогой между арестованными и милиционером состоялась увлекательная беседа.

- Ты, Семён Размахаич, вот что имей в виду: люди, вроде тебя, - вымирающее племя. Как грибной слой – прошли, и нету. Ваше время вышло, понимаете? Вы обречены, исчерпали свой лимит.

Юра очень ловко управлял мотоциклом, Семён в коляске сидел баринком.

- Вот в давние-предавние времена были неандертальцы, питекантропы, кроманьонцы и прочие. Забыл уж, в какой они последовательности жили. Они свой век отбарабанили – и нету их. Согласно эволюционной теории Дарвина теперь пробил час и для тебя, Семён Степаныч, и для тебе подобных. Не обижайся, я это по-хорошему и совсем не желая оскорбить. Предостереечь хочу: если не переменишься, если не переродишься в нового человека, тебя сомнут, стопнут – и правильно сделают! Если б я был такой, и меня очень просто смяли бы.

Арестованный оглядывался на милиционера поощрительно:

- Давай-давай дальше, я слушаю.

- Сейчас растолкую, век меня будешь благодарить. Ты сколько классов кончил?

- В девятом бросил.

- А я десять. Ну, неважно. Образование нам обоим позволяет: до десяти считать умеем, кое-что в состоянии понять, верно?

Семён пожал плечами: попробую, мол.

- Суть в том, слушай меня внимательно, что сейчас наступило другое время: техническая революция, информационный бум, в космос прорвались...промышленная технология идёт и в деревню. Жизнь очень убыстрилась. Посмотри вокруг: машины мчатся, самолёты летят, бульдозеры гребут, экскаваторы роют – всё ревет, рокочет, рычит. В этих условиях надо что? Надо принаравливаться к жизни, а не стопорить ее: тех, кто стопорит,

ждёт жалкая участь. Мы сейчас на вираже, понимаешь? И на большой скорости. Кто не с нами – вылетает на обочину с риском для жизни. Он отстаёт и остаётся позади. А дальше скорость ещё больше возрастёт. Наступило время людей, для которых машина, прибор. Агрегат, аппарат – друзья и товарищи. А ты или люди вроде тебя что? Вы никак не приноровитесь, потому и хнычете. У вас то грусть об утраченном, то воспоминания о прошлом, то жалость к пташкам-букашкам... чепуха всё это, Размахай Семёныч! Ты пойми: это сущая че-пу-ха.

Сбитнев так убеждённо говорил... просто руками разведёшь, да и только.

- Пташек жалко, - сказал Семён где-то слышанную фразу.

- Да бог с ними! Мы их потом в пробирке выведем миллион с десятком. Вот все эти твои чувства – грусть да печаль, жалость да сострадание – тоже отмирающее, остаточное, как аппендикс. Оно от пещерной жизни унаследовано нами. От такого багажа надо отрешаться самым безжалостным образом!

- А как же... Ты вот музыку слушаешь для чего? Чтоб пробудить в себе это самое – хорошее чувство, то есть радость, печаль. Грусть...

Это так Семён пытался защищаться. Но где там! Разве этим ребяткам что докажешь!

- Нет-нет! – решительно отверг Юра. – Музыка нужна мне вместо электрошока: чтоб толкала к действию! Она меня по нерва – бац! – ходи давай! не спина ходу! шевелись! Понял? По утрам будит: вставай! делай зарядку! мотоцикл заводи!

Семён глядел на Юру и удивлялся: ну, парни, откуда вы берётесь? Похожи друг на друга, как головастики. Сторожок, ладно, он пришлый, нездешний, а Юра-то здесь вырос! С его отцом Семён вместе парнями гуляли, вся родова Юры составлена из тех же веществ, что и Размахаевы: воду пили из одного водоносного пласта, молоко из одинаковой травы, почти что с одного луга, картошка с одной земли... Почему же люди такие разные получились? Кто их такими делает?

Юра привёз его сначала в Вяхирево, зашли в правление, он стал звонить куда-то, а арестованного вызвал к себе председатель.

- Ну что, - сказал Сверкалов устало. = Я ж тебе говорил: чти уголовный кодекс.

Размахай ответом его не удостоил.

- Значит, так: я тебя сам судить буду. И сам определяю меру наказания, ее потом оформят в суде честь честью. Если

ты уже осознал свою вину, сейчас приглашу Сторожкова Валерия и нашего милицейского, уладим полюбовно. Ты Валеркиной тёще и жене принесешь свои извинения, а самому Сторожку поставишь бутылку, лучше две. И на том покончим. Но ты пообещаешь никогда – ты слышишь? – никогда не совершать своих дурацких дел. Если же на мировую не пойдёшь, посажу на три года.

- Чего так много? – недоверчиво спросил Семён.

- Оснований достаточно: не только частному строению, но и колхозной технике большой ущерб причинил.

- Если на всю катушку – год принудработ, не больше, - хладнокровно ответил подсудимый.

- Вот кладу руку на телефон, если будешь топорщиться, позвоню, чтоб меньше трёх лет не давали.

- Год принудиловки, и сюда же пришлют отбывать наказание. А я вам обещаю: любому, хоть бы и тебе, холку намну, если будет пакостить на озере. Жизни своей не пожалею, а каждому гаду устрою, чтоб волна качала берега.

Сверкалов задумчиво смотрел на него. Не со зла смотрел, а просто размышлял – это немного умерило боевой пыл Размахая.

- Эх, Витюша, - сказал Семён почти задушевно, - я вот сейчас ехал в милицейской коляске мимо нашего леса. Помнишь, как мы ходили в Берёзовский Ямок за рыжиками? Сколько их там было! Косой коси... Такой лесочек был славненький, приветливый, ласковый, будто дом родной: ёлочки вроде новогодних, кусты, берёзки...

- Помню, - кивнул Сверкалов.

- Нынче на одних тех рыжиках наш колхоз обогатиться мог бы.

- Как это?

- Собрать, посолить и – в московский ресторан. На вырученные деньги и строили бы, и технику покупали бы.

- А чего в московский! Можно и в Париж, в Лондон, в Рим.

- Так какого ж ты... весел его раскорчевать! Думал хоть, что творишь? Соображал?

- Думал, Сёма, думал. Расчистили – поле стало просторное, технике вольготнее.

- А кто для кого на свете живет: техника для нас или мы для техники? Ведь сколько лет пашете, сколько лет вымочка на этом месте, и больше ничего. Значит, всё только для того, чтоб трактору пахалось, а на остальное наплевать?

- Если вымочка – осушить надо.

- Опять канаву рыть? Ты уже сколько их накопал! Вон Рожновское болото погубил и три озерка. Много ты на том болоте урожая собрал? Заросло кустарником. А было-то – помнишь? – цапли там ходили, по весне лебеди садились, журавли... Уток было столько, что поднимутся – неба не видать! А в озерках раков тьма-тьмущая. Забредешь, бывало, - они за ноги голые так и хватают, так и хватают...

- Да-а... Как не помнить! Нынче б тех раков ловить да в корзинах с мокрой травой – в Москву. По полтиннику за штуку. Очередь встала бы – на три квартала! Обогатились бы мы.

- Так зачем же ты осушал?

- Установка такая была. У нас, Сёма, план был не по ракам или рыжикам, а по зерновым, по мясу, по молоку...

- Неужели нельзя было сделать так, чтоб никого не обижать: ни озера, ни леса, ни самих себя? Зачем нам этот план, когда разум дан?

- Ты безнадежный идеалист, Размахай Семёныч. Мечты твои называются знаешь как? Утопия. А у нас, я ж тебе объясню, плановое хозяйство. План – закон нашей жизни.

- Кто их составляет? Кому мы это дело доверили? С кого спрашивать? Сторожок кивает на тебя, ты – на него, и виноватых нет...

Э-э, что со Сверкаловым толковать!

- Хреновый тот план, - решительно буркнул Размахай. – А составители еще хреновей.

- Составь ты лучше. Вот пригласят тебя в столицу, посадят в министерское кресло, и валяй.

- Ты вспомни, Витя, какая красивая земля была в пору нашего детства! Там перелесок – тут ручей, там луг – тут рощица... а тропинки! Вот пойдешь, бывало... эх, да что говорить!

- Теперь еще красивей у нас, Сёма, - стоял на своем Сверкалов. – Тут опоры электролинии, там антенны телевизионные... шоссе асфальтовое проложили, жильё строим из кирпича.

- Перелески ты выкорчевал, зверей и птиц потравил, вместо ручья сделал канаву... Посмотрел бы, как через твою канаву наши коровы перебираются... Скалолазы! Какое может быть молоко после такого лазания!..

- Всего не предусмотреть.

- А зачем ты, собака, велел карьер в сосновом бору вызывать? Такой был бор – красавец! Небольшой, светлый, чистый... Помнишь, нас, первоклассников, учительница Ирина Сергеевна

водила туда гулять? Я до сих пор помню... Какие там боровички родились! А белок сколько было, а... Так нет, дай все порушу. Как у тебя только рука поднялась на эту красоту и как только язык повернулся отдать такое распоряжение?

- А где же песок брать на дорогу, Сёма?

- Не знаю! Где угодно! – чуть не заплакал от досады Размахай. – Зачем ты, делая одно добро, творишь в то же время два зла, и зло у тебя перекрывает! Почему так, товарищ Сверкалов? Почему ты изуродовал нашу землю, нашу с тобой родину?

Юра Сбитнев зашел на этот крик, и был он готов выполнить любое указание Сверкалова, не от избытка исполнительности, просто они заодно, единомышленники и соратники, одного поля ягоды.

- Вези его отсюда, - махнул рукой председатель. – Пусть там с ним разбираются. Мне он надоел.

Семён выходил из его кабинета, а Сверкалов ему в спину:

- Надо, Сёма, идти по жизни не задом наперед. Понял? Вперед гляди, Размахай Семёныч! А не назад.

Семён ему от двери:

- Если мы оглядываться не будем, то такого наворочаем! Нас наши внуки проклянут!

- Ты сначала детей заведи, а потом о внуках толкуй.

Это он уколоть хотел. Ну, не прежние времена: теперь-то Семён ответил весело:

- Не беспокойся, заведу. И будь уверен, он вашей породе спуску не даст...

Речь свою он продолжил и в коляске мотоцикла, обращаясь уже к Юре, - о сыне, который подрастая, будет подпирать пошатнувшееся дело. Только бы он поскорее родился и поскорее вырастал!

19.

Пятнадцать суток прожил Размахай в районном центре – так долго не жил он в городе, никогда на такой большой срок не отлучался из своей Архиполовки. Если, конечно, не считать службы в армии – но это когда было-то! Двадцать лет назад.

Вышло так, что в первый день двор милиции покрывали асфальтом – Семёна послали помогать. Он разбрасывал чёрную горячую кашу, разравнивал, отступал от грохочущего, фыркающего катка. И асфальт, и каток исходили синим чадом, у

Семёна мутилось в голове, но, не своя воля, отстоял эту вахту с честью.

На другой день асфальтировали ту улицу, где милиция и так называемый Дом Правосудия; Семён уже сам ездил на асфальтовом катке, поскольку тот ему покорялся с большей охотой, нежели прочим. Тут, слава Богу, асфальт кончился – фонды исчерпались; а у начальника милиции персональная «Волга» вышла из строя, стала кашлять и чихать – Семён вызвался ее вылечить и сделал это в два счёта: всё-таки машина – не корова, машина – попроще.

Начальник милицейский так растрогался, что чуть было не отпустил архиполовского «преступника» домой, но вовремя спохватился, поскольку выяснилось, что Размахай и по части столярного ремесла ловок, поручил отремонтировать мебель в красном уголке милиции. Семён работу выполнил настолько хорошо и быстро, что слава о нём дошла до народного суда, - оттуда явился какой-то заседатель и лично, очень почтительно проводил дарового столяра в Дом Правосудия, где Семён несколько дней подгонял не затворяющиеся и не растворяющиеся створки в оконных рамах.

Это было жаркое лето, когда и в газетах, и по радио, и по телевидению одно за другим следовали сообщения такого характера: на Рижском взморье в районе Юрмалы купаться нельзя из-за загрязнения моря... и в Азовском море в пределах Донецкой области купаться запрещено – слишком велик сброс промышленных стоком... и море Чёрное закрыто для купания от Поти до Батуми – грязно... а в Волгу славный город Торжок сбросил какую-то дрянь – купаться, как объявили. Нельзя до самой Дубны... И в Москву-реку по сточной трубе некое предприятие спустило некую химию – кое-кого из купальщиков положили в больницу с ожогами, а рыба передохла и всплыла кверху брюхом, для нее больниц нету...

Лишенный полной свободы, но не лишенный газет Семён Размахаев читал об этом, как сводки с фронтов, - с болью и гневом в душе. Чувство собственного бессилия переходило в глубокую тоску. Раз за разом стал сниться ему один и тот же сон: будто медленно и неотвратимо накатывается на него рокочущий, дышащий синим чадом из выхлопной трубы и откуда-то ещё асфальтовый каток, и некуда от него деться, некуда скрыться, нет спасения. Он всё ближе, ближе, тот каток, и чем короче становилось расстояние от загнанного куда-то и припертого к стене Семёна, тем больше становились размеры катка. Сначала-то он был обыкновенным, с трактор, потом с комбайн зерно-

вой, потом с жилой дом в три-четыре этажа, а когда накатывался на Семёна, когда вот-вот захрустят под катком Размахает кости, тут он и вовсе вырастал до неба.

Размахай кричал от этого сна и просыпался.

- Ты чего, дурдом? – ворчали на него сокамерники.

- Да так, приснилось, - виновато отвечал Размахай, тяжело дыша, будто после долгого бега.

Не сразу после мучений от бессонницы засыпал, и асфальтовый каток являлся ему вновь. Опять он катил, урча, подминал траву и деревья, птичьи гнезда и лягушек, душил всякую живность сизым плотным дымом, глушил птичье пенье и стрекот, кузнечиков нахрапистым, натужным рыком и вырастал до размеров пятиэтажного дома. Чугунная, отшлифованная в работе поверхность катка маслянисто отсвечивала на солнце, еще секунда, еще мгновение - скрыться некуда – и вдавит Семёна без всякой жалости в землю.

- А-а! – кричал Размахай во сне. – А-а!

Опять его будили собраты по камере и обещали всяческие страсти, если не кончит орать во сне. А со сном разве совладаешь? Не своя воля.

Его и побили бы, наверно, но на третью или четвертую ночь пришла к нему на помощь царевна-волшебница: она появилась перед растущим до ужасающих размеров катком, вскинула свою тонкую руку ему навстречу, ладошкой вперед, и он тотчас остановился, будто наткнувшись на препятствие, как тогда на берегу озера бык Митя, и более того, опал разом, будто резиновая лодка, которую бык пырнул рогом.

Укротив каток, она села на нары к Семёну, попросила:

- Расскажи про озеро.

И слушала, поощряя его улыбкой и взглядом, от которых он замирал всем своим существом. Иногда она перебирала его рассказ, спрашивая, к примеру, не видел ли он когда-нибудь «ледяные часы»: лошадиное копыто, отпечатавшееся на льду, и в нем две соломинки-стрелочки, которые двигал солнечный ветер. Семёну никогда часы эти не попадались на глаза, но тут словно осенило: видел! точно, видел! И не раз: даже вспомнилось, как удивился тогда оттого, что время их совпадало с истинным.

Семён рассказывал и про медведицу – как она ловила рыбу на дне озера, а потом выломилась изо льда и влезла по звездному небосклону, где и улеглась в небесной своей берлоге.

Женщина смеялась, и душа Размахая внимала этому смеху, как музыкальным всплескам.

Вспомнил он и про каменную плиту на дне, на самом глубоком месте, похожую на крышку сундука.

- Это не сундук, - сказала она.

- А что же?

Она улыбнулась и на вопрос отвечала уклончиво:

- На том камне рельефные изображения... какого-нибудь зодиакального знака.

- Ты не знаешь, какого именно? – удивился он.

- Они меняются... в зависимости от того, в каком созвездии находится наше солнце, проходя по большому кругу небесной сферы. Сейчас – в созвездии Рака. Через две недели – в созвездии Льва, потом в созвездии Девы.

Семён оглянулся и увидел на стене камеры нарисованного рака; он шевелил усами и почему-то мигал черным круглым глазом: наверно, подтверждал сказанное ею. Ну, бог с ним...

- А зимой? В феврале, например?

- Февраль дружен с созвездием Рыбы.

- Золотой?

- Да.

Конечно, не зря актёр звал ее ведьмой: она умела так глубоко, до самого сердца, заглянуть в человека; отсюда было и Семёново убеждение, что ей ведомо абсолютно все на свете.

- А те знаки на камнях, что возле Панютина ручья, они тоже?..

- Они в согласии с теми, что на дне озера и что у тебя на руке, - понизив голос, сказала она и приложила палец к губам, оглядываясь на спящих сокамерников Размахая – это чтоб он больше не расспрашивал о знаках: тут тайна.

И Семён покорился, только вздохнул:

- Интересно, что было раньше на нашем озере, тысячу лет, к примеру, назад. Или две тысячи.

Сказавши так, посмотрел на нее: неужели и это знает? Но, может быть, тут тоже тайна?

- Прежде всего, что тысячу, что две – одинаково! – отвечала она.

- Одинаково! – изумился Семён. – Целая тысяча лет прошла, и тут ничего не изменилось?

- Ну, вместо одного леса вырос другой, вместо одного кабаньего стада паслось другое, вместо одних синиц да дроздов гнездились уже другие птицы – это ведь не в счет, не так ли?

- Не в счет, - согласился Семён.

- Пробилось несколько новых родничков, а несколько прежних иссякло. Камень упал с неба и долго валялся, пока его кузнец Нестор не подобрал; впрочем, это случилось гораздо позднее, когда здесь уже была деревня.

- А что, наша Архиполовка стоит так давно?

- Нет, люди здесь не жили, потому что большие и малые реки вдали, а значит, и большие дороги тоже, тут как тупичок. И очень буреломные леса вокруг – медвежье царство: то тут медвежий рев, то там, в любую пору дня и ночи. В первый раз появились люди, насколько я знаю... дружина воинов черниговских, они ночевали на берегу.

- Там, где Архиполовка?

- Нет, возле ручья, который ты называешь протокой. С ними был князь Андрей, больной: загноилась на бедре рана.

- От сабли? От пики?

- Нет, от вепря. На охоте упал князь с коня, а стадо вепрей шло напролом... матерый секач задел его, распахнул бедро. Оно зажило, но в пути рана открылась.

- Он потом выздоровел?

- Да. Кстати, здесь, на берегу озера, он потерял серебряное стремя – выпало из перемётной сумы. Оно и сейчас лежит, затянутое илом, в ручье. Ты можешь найти, я покажу место.

- Надо же: явились к нам на Царь-озеро, а тут еще ни души, дикое место... Им понравилось оно?

- Князь не спал всю ночь. Начало лета, очень тепло было, комарно. Рыба играла в озере, и он удивлялся, как она тяжело бултыхает. Крупная рыба... Он был очень печален, тот князь... в разлуке... И еще оттого, что считали его не князем, а просто хорошим воином. Затерялось родство, и он никому не мог доказать, что в его жилах течет благородная кровь. Из-за этого и погиб потом.

- В битве?

- Князя убил свой человек, которого подкупили...

Они погоревали о неведомом черниговском князе Андрее.

- А если заглянуть еще раньше? – спросил Семён. – Далеко-далеко. Что тогда было?

- Это уже более туманно... Кристаллические породы залегают здесь на глубине около двух километров и перекрыты отложениями того периода в жизни земли, который называют каменноугольным – это примерно триста миллионов лет назад. Над ними отложения юрского периода и мелового... Это понятно? Я ведь стараюсь выражаться вашими терминами.

- Слышал по телевизору про юрский и меловой... но не очень хорошо себя представляю. А откуда ты все знаешь?

Она пожала плечами:

- Для меня это как знание языков: могу разговаривать на любом, но тотчас забываю. Сейчас не знаю ни одного, кроме русского. А встречу... англичанина, к примеру, или немца – забуду русский, буду владеть только английским или немецким. Но и их потом забуду! Они где-то во мне... так у нас устроено. И с прочими знаниями тоже.

Семён, дивясь, покрутил головой.

- Сейчас вот достаю из кладовой памяти – сама себя слушаю и увлечена... Так вот, дальше о твоей земле. Тут раньше было море, и на дне его постепенно сформировались известняки. Кстати, если бы ты знал, какие там ракушки лежат до сей поры! Но тебе не добраться. Только в размывах, особенно по ручью, где есть сильные родники, можно найти осколки раковин тех моллюсков, которые жили здесь на дне каменноугольного моря. Позднее был ледник, он оставил морены - отложения, а они перекрыты озерными отложениями – тут было раньше не одно это озеро, а много. Так устроена твоя земля... Главная ее особенность: в толще известняков – карстовые явления, вроде котловин, провалов, пещер. Но это на большой глубине. Туда уходит Царь-озеро.

И сказавши так, она сама отдалялась, уплывала.

- Ты придешь еще раз? Завтра ночью, а?

Она грустно покачала головой: нет, мол.

- Но меня опять будет давить этот гад-каток!

- Есть прекрасное средство: читай то стихотворение, как молитву... Помнишь?..

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается...

И растаяла. А Семён Размахаяев счастливо спал в эту ночь.

На другой день в камере появился новенький, который, едва переступив порог, закричал Семёну:

- Здорово, командир! И ты здесь?

Это был тот кривошей лесоруб, что вел просеку неподалеку от Семёнова озера и хотел загнать пастуху по дешевке только что спиленные ели.

- За что тебя? – спросил Семён.

- Да, понимаешь, вели мы линию электропередачи... ну, ту самую, что идет мимо твоей деревни. Это значит, такие вот ме-

таллические опоры ставим высотой с десятиэтажный дом. Так я две опоры, это самое, пропил.

- Как пропил?

- Ну, загнал налево.

- По бутылке за опорю?

- Не-ет, у них же четыре ноги. Значит, за каждую ногу по пузырю, итого четыре за всю опорю.

- Да кому они нужны?

- В хозяйстве всё пригодится! Дачный кооператив взял... он из этой арматуры теплицы решил построить.

Чем дольше живешь на свете, тем больше чудес...

Этот шустрый малый тоже плохо спал по ночам, тоже кричал: «А-а!».

- Ты чего, дурдом? – будили его.

- Да, понимаешь, замучил сон, один и от же: покупаю бутылку, только от прилавка отойду – дзеннь! – выронил из рук, разбилась. Беру ещё одну, на последние деньги, и снова – дзеннь!

Кривошеему сочувствовали единодушно, если не считать Семёна, который на это не отзывался никак, лежал и бубнил в полудрёме:

- Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается...

- Ты чего бубнишь? – спросили у него.

- А вот послушайте: что ни строка, то картина, и рисовать не надо – всё перед глазами, как живое: звёзды меркнут и гаснут...белый пар по лугам...свет заревой на воде...

- Во чудики! – сказал один преступничек. – Сумасшедший дом...

- Ничего, - сказал другой. – Давай дальше, как там?

- Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг.

Чуть приметна тропинка росистая...

- Вы слышите? Чуткий камыш, безлюдье и чуть приметная тропинка...

Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг

С листьев брызнет роса серебристая...

Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит,

За морями ночлег свой покинуло.

На поля, на луга, на макушки раки

Золотыми потоками хлынуло...

Лекарство от дурных снов и бессонницы подействовало исцеляюще: и в эту ночь Семён Размахаяев уснул глубоко и во сне улыбался. Утром проснулся в бодром состоянии, приговаривая:

- Ясно утро, тихо веет, теплый ветерок.

Луг, как бархат, зеленеет. В зареве восток.

Окаймлённое кустами молодых ракут,

Разноцветными огнями озеро блестит...

- Вы хоть видели озеро-то, черти? Вот сейчас там утро... теплый ветерок веет и восток в зареве...

Над ним похохатывали, но никто уже не ругался.

Опять он ремонтировал чей-то автомобиль, за ним душевую установку в вытрезвителе, отопительную систему в прокуратуре... И уж хотели попробовать его на задержании особо опасного преступника, но тут отмеренный пятнадцатисуточный срок пребывания на казённых харчах кончился, а на второй Семён остаться не пожелал.

- Ну, не забывай нас, - сказал начальник милиции; он как раз вышел на милицейское крыльцо, а тут только что освобождённый Семён. – Если что, приютим опять недельки на две, ещё поработаешь. Говорят, ты печи ловок класть. Это очень кстати: есть у нас и такая работёнка. Так что имей в виду, Семён Степаныч: по первому звонку оттуда...

- Волна качает берега, - непонятно ответил на это Размахай. – Наше дело правое, победа будет за нами.

- Передавай привет Сверкалову... Хвастал он мне, что где-то у нас на озере утки водятся, так ты ему скажи, чтоб поберег их до меня; приеду – на охоту вместе сходим.

- На охоту мы ходили и убили воробья, - пробормотал Размахай, мгновенно ожесточаясь. – Всю неделю мясо ели и осталось...до хрена.

- Да погода, сейчас ваш участковый приедет, я ему прикажу тебя доставить туда, где взял.

Семён не стал ждать участкового, пошел пешком. Ни разу он не оглянулся ни на милицию, ни на Дом правосудия, ни на город. Сказанное вскользь об утках да о скорой охоте на них засе-ло болезненной занозой, и чтоб умерить боль, Размахай бормотал:

- Едет пахарь с сохой, едет – песню поет.

По плечу молодцу все тяжелое...

Не боли ты, душа! Отдохни от забот!

Здравствуй, солнце да утро веселое!..

Он не знал, не мог знать, что как раз в это время, когда так бодро шагал по шоссе домой, самолет сельскохозяйственной авиации, заходя на очередной облёт картофельного поля в Хлыновском логу, слишком рано открыл заслонку в своем брюхе и просыпал какую-то ядовитую гадость не только на поле, но и на озерный берег, и на само Царь-озеро.

Тотчас в Рябухиной заводи околели застенчивые и женственные лягушечки, прозванные Семёном хитрецами за то, что умели они посматривать на него хитровато, когда угощал их овсяными хлопьями, размоченными в сладкой воде. К моменту возвращения Размахая всем племенем лежали они на приплеске, выпучив глаза в ресничках то ли от ужаса, то ли в великом недоумении.

Досталось и лягушечкам-ноготкам в осиннике возле Панютина ручья – ну, эти вроде бы не все поголовно вымерли, уцелели зеленые в крапинках, которых Семён считал кавалерами, а вот их нарядные барышни оказались менее стойкими, они погибли. Значит, не бывать потомству...

Поредело и племя дубравниц: не выдержали жизненного испытания в основном малыши.

Барыня вечером выловила в заводи здорового леща – такого не бывало в ее рыболовной практике - но, понюхав и поразмыслив, есть его не решилась. В осоку набилось довольно много всякой рыбы, но она шевелилась медленно, будто снулая, а некоторые уже плавали вверх брюхом.

Все это предстояло Семёну узнать по возвращении домой.

Эпилог.

В сентябре под осенним дождичком Семён молчаливо засадил бывшую усадьбу Сторожковых-Бадеевых (хозяева уже перебрались на жительство в Вяхирево) молодыми березками да липами. Обожжённые соляжкой пятна земли вскопал и закрыл пластами дерновины, срезанной над обрывом. Ему явно хотелось скрыть безобразия, которое оскорбляло его глаз, но душевную смуту, которая ясно отражалась на всём его облике, ничто не могло унять: ни посадка деревьев, ни благоприятные известия, приносимые Маней из женской консультации.

Между тем осень расхозяйничалась. Подули мокрые ветра, зарядили хлесткие дожди, влачили и влачили над Архиполовкой бесконечные тучи. В деревне то и дело гас свет: где-то рвалась линия электропередачи, и с раннего вечера деревня погружалась в темноту.

Семён сам проверял линию, находил обрыв, соединял провода, и Архиполовка благодарно вздыхала.

А потом наступила тишь. В одну из ночей поседали травы, иней опушил оголённые ветки деревьев и кустов, и на озеро лёг тонкий, как оконное стекло, ледок. В нём отпечатались диковинные тропические растения, рыбы и звери, какие ныне уже не водятся на Земле... в зарослях угадывались силуэты живых существ, не похожих ни на кого из ныне живущих.

«Это вода хранит память о былой жизни», - озарённо думал Семён.

Он подолгу стоял на берегу, смотрел на озёрную гладь, иногда обращал своё лицо к небу, задирая голову в лихой кепочке, потом опять вглядывался в зеркало льда, ловя в нём отражение звёзд. Он кого-то или чего-то ждал. Морозец пощипывал его за уши.

В следующую ночь ударил мороз покрепче, белые дымы встали над Архиполовкой высоко-высоко, не относимые никуда; иней, медленно кружась, мелкими блёстками опадал с ледяного неба.

Озеро окончательно застыло.

Наступил декабрь. Маня ушла в декретный отпуск... И вот в эту пору в один из дней Семён исчез. То есть был-был, видели его то у колодца, то на берегу, то возле собственного двора – и вдруг нет его нигде.

Маня явилась – корова стоит не доенная, измученная, голодная. Барыня встретил хозяйку злобно – одичала, что ли? В сенях почему-то горит электрическая лампочка, в большой кастрюле на кухонном залавке замочен и прокисает молотый овёс.

Семён не пришел ночевать, и Маня ещё больше встревожилась. Если б не была тяжела, то кинулась бы искать. Помаленьку хлопотала по хозяйству и ждала, вздрагивая от каждого стука.

Исчез мужик. День нету, два... Соседка Вера Антоновна отправилась на остров наломать вереску для веника и увидела: Семён лежал подо льдом лицом вниз, словно рассматривал что-то на дне, раскинув руки и ноги. Будто там, под верхним слоем льда, был ещё один слой, и сосед Размахеев заполз между ними понаблюдать за подводным миром.

Дали знать в Вяхирево. Приехал милиционер Юра Сбитнев, с ним ещё кто-то незнакомый, приказали Осипу Кострикину запрячь Ковбоя и чтоб выехал на озеро.

Семёна Размахаяева вырубили изо льда целой глыбой, положили на сани уже вверх лицом – оно было удивлённым и торжественным, словно он узнал что-то необыкновенное, изумился несказанно и от этого чувства умер.

Одни говорили, что утонул он при ледоставе... пошёл-де по тонкому льду и провалился.

Другие – утащила его огромная рыба, о которой он не раз говорил под большим секретом.

Третьи – что позвал кто-то из озёрной глубины...

Болтать можно что угодно, а правду как узнать?

Семёна Размахаяева похоронили на старом кладбище, на Весёлой Горке, а примерно месяц спустя Маня Осоргина родила мальчика.

Зима была суровой. Говорили, что озеро промерзло до самого дна, но только в это что-то плохо верилось. С наступлением весны случилось то, что случалось всегда: когда полая вода заливала лед поверху и озеро заполнялось до краев, оно при ясной и безветренной погоде вдруг закипело разом по всей поверхности, и лед всплыл. Значит, ко дну-то не был приморожен. Всплыл и довольно быстро растаял.

Зазеленели берега; вот когда дружно выпустили бойкие листочки молодые деревца, посаженные Размахаем, именно в связи с этим печаль о нем в Архиполовке стала явственнее: все чаще и чаще вспоминали Семёна. Да и Маня, перебравшаяся сюда на жительство, теперь каждый день выносила маленького Размахайчика посмотреть на озеро и послушать лягушьи концерты. Младенец был всегда серьезен – вылитый отец! – с чрезвычайно осмысленными глазками.

И вот тут шушок пополз из дома в дом: будто бы иногда и довольно часто, не только вечером, но даже и днем можно явственно различить на острове сидящего там человека. Он сидит будто бы на некотором возвышении, должно быть, на камне, среди молодых дубочков и смотрит, смотрит на озеро, изредка оглядываясь на Архиполовку.

Когда Вере Антоновне, бывшей сельсоветской работнице, впервые привиделось это, ее смутила вопиющая незаконность такого явления. Старушка, всегда говорившая, что она-де неверующая, бойко крестилась:

- Господи боже мой... Да кто ж это там? В кепочке-то... Кепочку-то этак только Размахай носил. А разве можно мертвому этак-то сидеть? Разве можно пугать народ?

Мане об этом она ничего не сказала, а то молоко пропадет – она ведь кормящая мать, - пошла к Осипу Кострикину. Тот вышел на крыльцо, взгляделся:

- Ну, точно: он. Больше некому.

А если это так, то что делать: бояться или радоваться?

Осип, бывалый человек, - усмехнулся, махнул рукой: пусть, мол, сидит, если нравится.

Примерно в эти же дни заехал в Архиполовку Валера Сторожок.

- Пахал сейчас в Хлыновском логу, - рассказывал он, - так вы не поверите: как подъеду к лесу, вот где Семён Размахайч лесок посадил, так вижу – стоит под елкой! Ну да, он, собственной персоной: в плаще, капюшон надвинул на лоб... Ясно-ясно вижу, вот как вас. У меня мороз по коже. Стоит и смотрит... Да пропади ты пропадом, говорю, чтоб я это место пахал!..

Некоторое время спустя, видели Семёна и возле Векшиной протоки: Осип Кострикин тальник на корзины резал, обернулся – Размахайч стоит. Ни слова Семён Степаныч не сказал, но рукой махнул: уходи, мол, отсюда. Он и раньше не раз предостерегал Осипа: тут, мол, бобёр живет, не пугай его. И теперь вот.

Старушка Вера Антоновна надумала в озере старую керосинку песком оттирать. Только приступила было к делу, а он, Семён-то, и стоит в тростниках, зубы скалит, то ли смеется, то ли рассердясь.

- Меня дрожь проняла, - призналась старушка. – Я его крестным знаменем – а ему хоть бы что. Я оттуда опрометью, даже и про керосинку забыла. Потом пошла я за керосинкой – нету.

А в доме Размахаевом появился портрет. Маня нашла этот портрет на божнице, за книгами: на нём Семён Степаныч как живой – глаза синим огнем горят, требовательные; соломенные волосы просто приглажены ладонью, а не причесаны; нос хрящеватый блестит, правая рука положена ладонью на грудь против сердца: то ли клятву произносит, то ли вот сейчас поклонится старинным русским поклоном: исполать, мол, вам, люди добрые, вот я и вернулся.

Маня повесила портрет на самое почетное место, маленькому Размахайчику сказала: это твой отец, запоминай и привыкай, он как живой тут.

Однажды явились в Архиполовку друзья-приятели Валера Сторожок и Юра Сбитнев. Дело было к вечеру, и на острове сидел человек...

- Ну что, видишь? – сказал Сторожок удовлетворённо. – А ты не верил. Убедись сам. Точно он! Всегда обещал мне: даже, мол, если помру, и с того света приду, чтоб волна качала берега, никому покою не дам.

Сбитнев смотрел сквозь очки и пожимал плечами: как, мол, он туда попал? Лодки нет. Если вплавь, то почему одетый? Не с неба же спустился! И зачем сидит? Чего от него ждать, худа или добра?

- Давай сплаваем, - предложил Сторожок, у которого от азарта и ушки наострились.

- Да ну! Кто-нибудь из городских туристов, рыбак, - нерешительно возражал Сбитнев. – А может, просто деревья посгрудились, вот и кажется.

Милиционер чего-то опасался: как-никак человек при должности, и ронять авторитет ему не годится. Что скажут потом? Привидение, мол. На острове участковый ловил. Засмеют!

- Ну, ради интересу, Юр! – азартно уговаривал Сторожок. – Проверим. Как и что. Ну! Смотри, по-моему, точно: человек сидит. Может, беглый какой, а? Тут раньше ловили какого-то дезертира Архипа. Поймаем –тебя в звании повысят, мне премию денежную, бабе Вере медаль за бдительность: это она первой-то углядела.

Сбитнев опять пожал плечами, усмехнулся:

- Давай искупаемся... ради интересу.

Они разделись и поплыли. А Маня с маленьким Размахайчиком на руках и Осип Кострикин, и Вера Антоновна стояли на берегу. Ветерок морщил озеро, молодые дубки на острове гнулись то в одну, то в другую сторону, человек на острове – или что это было? – казалось, сидел в задумчивости. Человек этот уходить или исчезать не собирался: двое плывущих его не пугали. А вот маленький Размахайчик, на удивление всем, смеялся.

- Он никогда так не хохотал! – дивилась его мать.

Остальные переглядывались.

Сбитнев со Сторожком выбрались на остров, помахали оттуда зрителям, потом вернулись, немного сконфуженные.

- Ну, что? – спрашивали у них.

- Никого там нет... Так просто... волна качает берега.

- А почему же отсюда-то так видится?

- Камень там лежит, не знаете, что ли? – сказал Валера. – А рядом дубки. Ну, вот все это вместе вам и маячит.

- Лягушка на камне сидит. – усмехнулся Сбитнев. – Красивая такая лягушенция, прямо-таки царевна – золотистая вся, я такой и не видывал.

- Надо было ее арестовать, - сказал Осип Кострикин.

- Поди-ка... Увидела нас – скакнула в воду и поплыла шустро так, словно рыбка.

А маленький Размахайчик уже не смеялся, а пристально, внимательно смотрел на Сторожка и на Сбитнева, словно хотел получше их запомнить.

Архиполовка успокоилась. В самом деле, даже если и сидит на острове кто – его дело. Вреда, ведь, никакого.

Разговоры однако не унялись: вспоминали Семёна и так, и этак. И что делал, и о чём говорил, и что в нём хорошего или плохого... К достоверному прибавлялась нелепица, из правды вычиталось несущественное, остаток умножался.

Всё, что до этих пор, – правда, а дальше – легенда.

1988г